



Габриэла Лич-Анспах

МОИ
ВСТРЕЧИ
С РУССКИМИ

Габриэла Лич-Анспах

МОИ ВСТРЕЧИ С РУССКИМИ

«Дельфа Р. А.»
Санкт-Петербург
1996

ББК 84.4 (Герм)
Л49

Габриэла Лич-Анспах

Л49 **Мои встречи с русскими. Мемуары. Перевод с немецкого. СПб., СП «Дельфа Р. А.», 1996, 144 с.**

В книге представлены отрывки из готовившихся к изданию в Германии мемуаров Габриэлы Лич-Анспах на немецком языке.

Славистка, ученица профессора М. Фасмера – автора уникального этимологического словаря русского языка, Лич-Анспах всегда проявляла интерес к России и русским людям.

Сам автор пишет: «... воспоминания, которые лежат перед вами, мои русские друзья, я написала и для того, чтобы уяснить свои впечатления и чувства. Мои размышления и суждения, которые вы наверняка не всегда разделяете, носят... совершенно личностный характер, и ни в коем случае не претендуют на прележность».

ISBN 5-88779-005-9

ББК 84.4 (Герм)

© Габриэла Лич-Анспах, 1996.
© СП «Дельфа Р. А.», 1996.

Ранние мечты

Мои русские друзья! Знаете, почему для меня так важно лучше понять ваш язык, ваш народ? Я и сама часто спрашиваю себя об этом. Чтобы ответить на этот вопрос, я должна вернуться в далекое прошлое, многое вспомнить. С русскими я встречалась в самые разные времена, и встречи эти всегда были для меня чем-то значительным.

Возможно, ваш народ вызывает у меня родственные чувства, потому что предки мои тоже вышли с Востока.

Когда я ребенком впервые увидела поле, раскинувшееся до горизонта, широко текущую вдаль реку — то была Висла, — я всем сердцем ощутила: вот истоки моей родины. Может быть, среди моих предков были славянские рыбаки, жившие у большой реки... Более поздние мои прародители — а их моя семья может проследить вплоть до XVII века — были охотники и лесники, служившие Гогенцоллернам в Восточной Пруссии. Другие наши предки тоже были связаны с лесом, только состояли на службе у силезских дворян. Имена некоторых из их жен звучали по-польски и были типичны для уроженок Мазовии, знаменитого края Мазурских озер. От этих моих прабабок и унаследовала я, наверное, благоговение перед природой и языками тех мест.

Когда же я впервые услышала о России?

В доме моего деда, известного лейпцигского промышленника, стоял на столике в углу около дивана серебряный самовар — подарок русских деловых партнеров. Когда мы собирались за чашкой чая, дед рассказывал нам, как чаевничают в далекой Москве. И мне, четырехлетней, этот серебряный предмет, которым никогда не пользовались, представлялся каким-то чужим, явившимся из таинственной сказочной страны. Моя детская фантазия рисовала ее баснословно богатой, с безбрежными

реками и бескрайними зауральскими степями, где вечно царит лютый холод. Бабушка часто читала нам о путешествиях шведского исследователя Азии Свена Гедина по Монголии и Тибету. И, поскольку мои познания в области географии были тогда весьма приблизительными, в моем воображении бесконечно далекая Россия растворилась в просторах Азии.

Слово «Россия» пробуждало во мне ощущение таинственности и безграничности, ощущение, которому я своим детским умом не могла найти названия, — оно было сродни тому, что я чувствовала и в сумеречном свете заката, и в колышущихся от ветра тенях старых каштанов в нашем саду, и в запахе трав и цветов, доносящемся с соседнего поля, и, конечно же, в темных пугающих образах — то мне мерещилась Смерть в черном плаще из фильма о «Реквиеме» Моцарта, то злые ведьмы, притаившиеся в потемках детской комнаты.

Самое отчетливое переживание раннего детства, приоткрывшее для меня существование духовного мира, произошло, когда мне было четыре или пять лет, 6 декабря. В этот день к немецким детям приходит Святой Николай с мешком подарков для послушных и палкой для тех, кто послушанием не отличается. Дедушка с бабушкой не нашли желающего взять на себя роль Святого Николая. Тогда они уговорили одну известную певицу-сопрано из лейпцигской Оперы выступить в качестве рождественского ангела. По сей день живо во мне чувство невероятного удивления, когда вдруг в нашей детской отворилась дверь и на пороге появился ангел в длинном белом одеянии, который пропел торжественным голосом «С высокого неба пришел я сюда» — песнь Благовещения на слова Мартина Лютера. После того как ангел нас покинул и мы, дети, стояли ошеломленные, дедушка подошел к окну, растворил его и, указав рукой в ночь, промолвил: «Вот куда он улетел!».

Дедушки уж давно нет, но до сих пор я вижу его добродушное лицо и раскрытое в ночь окно и чувствую близость чего-то сверхъестественного — чего-то такого же мистически непостижимого, возвышающегося над материальным миром, что по понятиям моего раннего детства было связано и с образом России.

Этот образ стал конкретнее, когда я получила первую возможность познакомиться с действительной русской жизнью. Эмигранты из прибалтийских немцев и русских, в прошлом купцы, помещики и офицеры, рассказывали о своей жизни в Петербурге и Москве. С дочерью последнего гетмана Украины, Павла Петровича Скоропадского, моей ровесницей, жившей в предместье Берлина неподалеку от нас, я дружила. В Берлине и Висбадене я впервые побывала в русской православной церкви, дивилась прекрасному пению хора, цветистой роскоши облачения священников, угадывала в их культовых действиях и ритмических движениях глубокую символику, которая мне, протестантке, была недоступна. Я ходила в музеи на выставки русской живописи, слушала русскую музыку, в особенности полюбились мне «Картинки с выставки» Мусоргского. В школу я ходила в Потсдаме, где было много исторических памятников (сегодня они по большей части разрушены), и нити, связывавшие Пруссию и Россию, как бы оживали. Есть там замечательная деревня — Александровка, вся состоящая из изб. Ее построили по случаю визита Николая I и его жены, прусской принцессы Шарлотты, в Германию. И сегодня можно увидеть на некоторых домах Потсдама таблички с русскими именами. Маленькая русская церковь — еще одно свидетельство существовавшей в то время связи между Пруссией и Россией.

В мои школьные годы Россия перестала в моем представлении быть таинственной сказочной страной детства, однако она оставалась далекой, сложной для понимания и, как тогда казалось (вспомните тогдашнюю политическую обстановку), навсегда закрытой землей. Знания о России, которые мы получали в школе, были поверхностны и не вызывали у меня большого интереса. Преподавание русской истории начиналось с открытия Россией «окна в Европу», то есть с Петра Первого. Нам рассказывали об империалистической политике русских царей, об их «панславянском» стремлении объединить славянские народы под своим господством, о спорах с турками за Дарданеллы — за выход к Средиземному морю, о конфликтах с Британской империей за господство на Ближнем Востоке. И все же, к чести моей совершенно консервативной

потсдамской школы, нужно сказать, что хотя русская история и была представлена с большими пробелами, но значение русской нации в ряду других европейских народов ни в коей мере не умалялось. В годы моего ученичества — школу я окончила в 1937 году — на должности руководителя школы еще необязательно должен был находиться приверженец нацизма. Однако уже и тогда от школьной администрации требовались уступки нацистской идеологии — в первую очередь это касалось преподавания немецкого языка и литературы. И хотя мы читали еще «Натана Мудрого» Лессинга, но писатели, книги которых гитлеровцы предали публичному сожжению на костре — Генрих и Томас Манны, Кафка, Деблин, Брехт, Брех, — уже перестали упоминаться. А они-то как раз смогли бы заставить нас усомниться в тех воззрениях, которые усиленно вбивали нам в головы, научили бы нас либеральному образу мышления. Однако наша система образования была больше направлена на категоричное «или ... или», а не на терпимое «как ..., так и ...».

От одной своей подруги, отец которой, писатель-социал-демократ, был подвергнут гонениям, я получила сборник рассказов Тургенева. Впечатление от рассказов было огромное. Вместе с мальчиками-подпасками сидела я у костра на Бежином лугу, страдала вместе с Герасимом и смертельно больной мельничихой Ариной Тимофеевной. С творчеством Льва Толстого я познакомилась по рассказам «Три смерти», «Метель» и «Холстомер». Эти произведения надолго заняли ум — идея непротивления злу, выраженная в них, резко контрастировала с той идеологической муштрой, которой подвергалась молодежь во время диктатуры Гитлера. Русские авторы давали пищу для размышлений, их мировоззрение ставило под сомнение чеканный национал-социалистический идеал немецкого героя-борца. В одном музее я увидела надолго запомнившуюся мне деревянную фигуру погруженного в раздумья монаха. Эта скульптура глубоко взволновала меня своей необычайной выразительностью, и лишь после 1945 года я узнала, что это был один из шедевров Эрнста Барлаха, названного нацистами за «славянское» изображение человека

«деградировавшим художником» и получившего запрет на профессию. Двухмесячное путешествие в Россию, которое Барлах предпринял в 1906 году, определило все дальнейшее творчество художника. Сразу после возвращения в одном из писем он писал: «Кстати, я был несколько месяцев на юге России, получил там бесчисленное количество творческих импульсов, скажу даже больше — прозрений» (письмо от 9 декабря 1906 г.). Годами позже он говорил: «Я нашел в России поразительное единство внешнего и внутреннего мира, некий символ: все мы, люди, — нищие и по сути своей несовершенные. Поэтому я понял, что нужно изображать то, что видишь, а видел я, конечно, людей простых, страдающих, тоскующих, неудовлетворенных собой и оттого предающихся пороку, пьянству и в то же время любящих пение и музыку, — к ним ко всем я испытывал братское чувство. Это чувство направлено на всех таких людей, то есть пропащих, проклятых, опустившихся, а их везде несметное множество, но славянин светится этим, он это показывает, тогда как другие это прячут, и так получилось, что при первом же знакомстве все славянское оказалось мне близким» (письмо от 6 октября 1920 г.).

В кругу моих друзей все зачитывались Рильке. И для него тоже путешествия в Россию в 1899 и 1900 годах, вместе с дочерью петербургского генерала Лу Андреас-Саломе, ознаменовали собой решительный перелом в творчестве. Подобно Барлаху, он разглядел в русских людях, в их нищете, покорности и религиозности то, что он сам стремился показать в своих произведениях: человека в поисках Бога. Пережитое им в России нашло отражение в дневнике, изданном в 1906 году. Экземпляр книги, преподнесенный мне моей подругой, я хранила как драгоценность, и он сопровождал меня все мои школьные годы. Однако в то время мое отношение к России было двойственным. С одной стороны, я любила русский народ таким, каким я, как мне казалось, знала его по рассказам Тургенева, Толстого, Лескова. Я мечтала о широко разлившейся Волге, о бескрайних русских лесах и степях. С другой же, меня, как и всех, пугала угроза, исходившая от России, — ведь я знала об ужасной тирании Сталина,

о концлагерях, о жестокостях коллективизации (а позднее — о насильственном переселении целых народностей, к числу которых относились и немцы Поволжья). И, поскольку я происходила из семьи с национально-консервативными представлениями — мой отец до 1918 года был кадровым офицером, — коммунисты, независимо от национальности, воспринимались мною как заклятые враги. Все, кто угрожал нашей безмятежной жизни, толкал мир в революционной хаос — то не были для меня, школьницы, именно русские; нет, то были коммунисты во главе со Сталиным — они казались мне олицетворением зла.

Мое отношение к немецкому диктатору, к Гитлеру?

8

Позвольте мне, друзья мои, на короткое время отклониться от первоначальной темы и рассказать о годах моей молодости, протекавшей во время господства нацистов, рассказать, каким образом повлияло это обстоятельство на мое внутреннее развитие. Ведь вы тоже выросли в стране, которая, как и Германия, была отгорожена диктатурой от всего остального мира. Возможно, мои воспоминания вызовут у вас некоторые ассоциации.

Люди консервативно-буржуазных традиций, к которым относились и мои родители, тогда еще определявшие мои взгляды, до 1933 года не воспринимали Гитлера и его лозунги всерьез. Книгу «Моя борьба», в которой выражались его идеология и политические цели, никто не читал. Но я помню дискуссии о «Закате Европы» Шпенглера. Некоторые тогда считали, что, воспользовавшись слабостью Веймарской Республики, коммунисты и приведут Германию к «закату». Еще ребенком слышала я о «позоре» Версальского договора, о священном долге Германии восстановить свое положение в мире. Гитлеровская демагогия ловко жонглировала дорогими сердцу каждого немца понятиями. Своей политикой силы, выходом в 1933 году из Народного союза, возвращением в 1935 году Германии Саарской области, отторгнутой на основании Версальского договора, введением войск в 1936 году в демилитаризованную по тому же договору зону на Рейне — всеми этими действиями Гитлер снова пробудил во множестве

немецких граждан средней социальной прослойки преувеличенную национальную гордость, уязвленную поражением в первой мировой войне. Националистические настроения подогревались с блеском инсценированными массовыми митингами, маскировавшими от широких народных кругов истинные цели нацистов.

В школьные годы авторитет родителей играл для меня большую роль. Хотя они и осуждали Гитлера за все более и более неприкрытую дискриминацию целых национальных групп и за подавление церкви, им никогда не приходила в голову мысль встать на путь противостояния. Так и я считала Гитлера неизбежным злом и как член Гитлерюгенда исполняла предписанные обязанности. Я относилась к этому как к ритуалу, которого невозможно было избежать, но который тем не менее не касался моего внутреннего мира, моей любви к природе, музыке и лирической поэзии.

Но насколько сильно, сама того не сознавая, находилась я под влиянием национал-социалистской пропаганды, мне стало ясно во время моего пребывания в Англии. У меня не было к моменту окончания школы в 1937 году собственных средств для путешествия за границу, но мой дедушка предоставил мне возможность поехать на год в Лондон. После изоляции в Германии, односторонней идеологии, от которой в общественной жизни невозможно было уклониться, у меня вдруг открылись глаза. Там, в Англии, я встречалась со многими немецкими и австрийскими эмигрантами. Помню, как моя ровесница из Берлина, которая сначала по-товарищески помогала мне в торговой школе, куда мы вместе ходили, вдруг стала демонстративно избегать меня, когда узнала, что я не еврейка и собираюсь возвращаться в Германию. Я болезненно пережила этот случай. Для меня, потсдамской школьницы, Фридрих II всегда был героем — Фридрихом Великим. Теперь же я обнаружила, что в английском учебнике он упоминается лишь как Фридрих II, и узнала, что Силезия была отнята у Австрии путем грабительской войны. Я встречала молодых людей из Великобритании, Австралии, Канады, Индии и познавала мир через многообразие их взглядов. В Лондоне я стала свидетелем

Судетского кризиса в сентябре 1938 года, показавшего, как мало англичане были готовы к войне. Еще я вспоминаю, с каким выражением счастья на лице тряс мне руку носильщик на вокзале Виктория, — а это много значит при обычной сдержанности англичан, — когда я забирала у него свой чемодан, а он говорил мне: «Войны не будет, мисс». И я вместе с англичанами ужасалась известиям о еврейских погромах, организованных во многих немецких городах национал-социалистами. В результате всех этих встреч, переживаний и разговоров я стала смотреть на политику Гитлера более трезво и даже раздумывала, нужно ли мне возвращаться в Германию. Однако семейные привязанности были сильны. И я вернулась в Берлин за месяц до начала войны, в которую я все еще старалась не верить.

Пребывание за границей изменило мои взгляды: мне стало ясно, что Германия — не пуп земли, как мне казалось раньше в изолированной стране, при невозможности контактов с внешним миром, что существует множество точек зрения на мир и что можно найти себе друзей среди людей самых разных национальностей. Этот год в Лондоне помог становлению моего собственного мировоззрения. Теперь я знала, что вопреки желанию моей семьи не стану овладевать профессией, связанной с торговлей. Мне хотелось больше узнать о мире, от которого я до сих пор была отгорожена, а точнее, о той его части, что лежит восточнее моей страны. Еще до моего отъезда в Лондон я начала брать уроки русского языка у одной эмигрантки, и учебник грамматики отправился со мной в Англию. И, хотя все силы были брошены на изучение английского, от надежды овладеть русским я не отказалась, а над моим письменным столом висела пословица: «Тише едешь — дальше будешь».

В сентябре 1939 года, в самом начале войны, я отдала документы в тогдашний Берлинский университет Фридриха Вильгельма (ныне университет имени Гумбольдта) на отделение восточно-европейской истории и славистики. Именно с этого, друзья мои, началось мое настоящее знакомство с Россией, с ее историей и культурой.

Университетские занятия

В 1939–1945 годах, принесших людям столько горя и бедствий, университет, и прежде всего Институт славистики на Доротеенштрассе, стал для меня островом спасения, духовной родиной. Здесь нашла я учителей и друзей, которые решительным неприятием нацистского режима укрепили приобретенные мною уже в Англии взгляды и определили мое поведение, образ мыслей и подход к работе на всю дальнейшую жизнь. Здание университета, бывший дворец принца Генриха, брата Фридриха Великого, возведенное в 1748–1753 годах в стиле классицизма, находилось на знаменитом бульваре Унтер-ден-Линден, тогдашнем культурном центре Берлина. Великолепная архитектура — дворцы, здания Оперы, Государственной библиотеки, Арсенала, Домский собор и собор Св. Гедвига, музеи, и в первую очередь Берлинский дворец, созданный Шлютером в стиле барокко, — оказывала на нас, молодых людей, сильнейшее эмоциональное воздействие. Казалось, гармонические пропорции архитектурных памятников, дышавших духом их великих создателей, поднимали нас на другой, отдаленный от повседневности уровень, открывали доступ к идеалам прошлых эпох, поруганных современной нацистской пропагандой. Сегодня я понимаю, как мне повезло, что я имела возможность уже в сознательном возрасте впитывать в себя впечатления от Берлина, тогда еще не разрушенного, от прекрасных ансамблей дворцовой и оперной площадей, от музейного острова.

Главный корпус университета после войны уцелел, но здание на Доротеенштрассе, 7, творение знаменитого Шинкеля, в котором располагался Институт славистики, было разрушено во время бомбардировок. Долгое время на этом месте зияла пустота; теперь хорошо знакомое мне здание, построенное

выдающимся мастером классицизма, заменил скучный дом с гладким фасадом. Каждый раз, когда я прохожу по Доротеенштрассе, меня охватывает тоска по тем временам, когда здесь находился и Институт философии с его самой большой аудиторией, куда битком набивались студенты во время лекций философов Николая Гартмана и Эдуарда Шпрангера, жаждавшие услышать смелую критику идеологии и политики национал-социалистов.

День моего поступления в Институт славистики памятен мне до сих пор. Удивление, даже почтение вызывали во мне высокие потолки помещений, отапливаемых печками, огромные стеллажи с книгами на всех славянских языках, рабочие столы, обтянутые зеленым сукном. Поскольку стен для книжных полок в библиотеке не хватало, стеллажи ставились поперек комнаты. В результате образовались отгороженные друг от друга закутки, в которых стояли рабочие столы. Во время моего поступления осенью 1939 года в институте оставалось всего несколько студентов, так как большинство молодых мужчин было призвано в армию. В нашей группе, изучавшей в качестве главного предмета славистику, были тогда четыре девушки и один юноша. Так что каждый мог работать в своем собственном закутке со столом, на котором из книг, необходимых для занятий, выстраивался так называемый рабочий аппарат. Нам разрешалось без спроса брать книги с полок, пользоваться ими в институте и даже дома. О таких возможностях для работы и свободе сегодняшние студенты в переполненных немецких университетах могут только мечтать. В одном из таких закутков, сразу у входа в библиотеку, постоянно сидел старик с всклокоченными волосами, в засаленной старой одежде. На столе перед ним громоздились книги, но он, как правило, дремал. Это был обнищавший профессор Строев из бывшего Санкт-Петербурга. Руководитель нашего института Макс Фасмер выделил старику уютное место в привычной для него атмосфере научного института. Когда мы, молодые студенты, проходили мимо него с застенчивым «Здравствуйте», он поднимал голову, удивленно, иногда недовольно, смотрел на нас, будто мы существа другого мира, и никогда с нами не разговаривал.

Уже в течение первого семестра я поняла, что в Институте восточно-европейской истории, которым с 1936 года руководил австриец Ганс Юберсбергер, состоявший в нацистской партии, многому не научишься. До 1935 года кафедру истории здесь возглавлял известный знаток России Отто Хетч, который всегда подчеркивал значение России как составной части Европы и важность сохранения мира между Германией и Россией. За свои взгляды он был уволен и только в 1945 году, незадолго до смерти, снова получил возможность говорить открыто. На Берлинской конференции историков в 1946 году он сказал: «Я вижу всемирно-историческое значение победы союзников в 1945 году в том, что каждому человеку на свете, хочет он того или нет, стало сегодня ясно: Россия — страна, неразрывно связанная с Европой. К Азии Советский Союз определенно не относится». Сегодняшнее политическое развитие России, сблизившее ее с западными странами вопреки традиционным российским славянофильским тенденциям, подтверждает взгляды немецкого историка, высказанные им уже в 1945 году, в эпоху сталинской диктатуры. У Хетча я могла бы получить основательные и многосторонние знания по русской истории. Что касается Юберсбергера, то он в своем шестисеместровом курсе «Государство и общество в России», начинавшемся с Киевской Руси и кончавшемся Октябрьской революцией, следовал в основном монографиям Ключевского и Платонова, которые я могла читать в немецком переводе и без научного руководства. Мы ничего не слышали о Советской России, ее истории, Конституции, о структуре Компартии. Но зато мы должны были знать назубок общественное устройство Киевской Руси, ее наследственные законы, местничество, чины московского боярства, их сложные правовые отношения, преимущества Московского княжества, войны, которые вели позднее русские цари против поляков, шведов и турок. На занятиях Юберсбергера мы читали также сообщения иностранцев о России: посольские донесения англичанина Флетчера и австрийца Герберштейна XVI века, записки Олеария — посла герцога Голштинского — XVII века, а также описание устройства

русского государства и жизни при московском дворе, сделанное беглым русским дипломатом Котошихиным в 1667 году в Стокгольме.

У нас была возможность получить информацию о современной Советской России на факультете иностранной науки, расположенном в соседнем здании. Там предлагался большой выбор лекционных курсов. Но темы звучали примерно так: «Оккупированные восточные земли», «Восточное еврейство», «Раса, народ и пространство Советского Союза». Откровенная пропаганда расистской теории отпугивала нас от работы на этом факультете. Теперь-то мне известно, что рядом с оголтелыми нацистами, считавшими не только евреев, но и всех славян неполноценной расой, работали там и люди других убеждений. Но тогда мы были слишком запутаны в нашем меньшинстве и избегали всякого соприкосновения с нацистскими кругами. И только с Юберсбергером, экзаменующим нас по восточно-европейской истории, мы вынуждены были общаться. Хотя он всегда приветствовал нас традиционным «Хайль Гитлер!» — очевидно, был на хорошем счету у партийного руководства, — он не докучал нам нацистской пропагандой: я не слышала от него ни критических высказываний по поводу современного советского государства, ни унижительных суждений о русской культуре. Напротив, перед первой мировой войной, в молодые годы, он работал научным сотрудником в Москве, и теперь часто рассказывал нам, как когда-то мне мой дед, о колокольном звоне многочисленных московских церквей; особенно хвалил он обычай послеобеденного отдыха москвичей — он и сам следовал этому обычаю: мы частенько слышали храп, доносящийся после обеда из его рабочего кабинета. Нам, студентам, было очевидно, что прежде всего он любил удобства и, вероятно, скорее из-за приспособленчества, чем из убеждений, принял нацистский режим. В общем и целом мы обращали на него мало внимания, но были признательны ему за то, что он предоставлял нам самим выбирать область наших интересов и не свирепствовал на экзаменах, заранее предупреждая, что мы должны уметь безошибочно перечислить порядок следования чинов московских

служилых людей, указы Ивана Грозного и коллегии Петра Великого.

Совершенно другой дух царил в Институте славистики. Директор Макс Фасмер, родом из Петербурга, профессор, был специалистом в области славистики, индогерманистики, греческой филологии и истории и в разное время преподавал на кафедрах в Петербурге, позднее в Дерпте и Саратове. В 1921 году он эмигрировал в Лейпциг; в 1925 — стал руководить кафедрой славистики в Берлине. Фасмер был самым крупным немецким славистом своего времени, оставившим заметный след в науке. Берлинский институт славистики с его обширной библиотекой превратился под руководством Фасмера в популярный исследовательский центр. Трехтомный этимологический словарь Фасмера, вышедший в свет в 1953—1958 годах, содействовал широкому признанию ученого в Советском Союзе. Благодаря своей яркой индивидуальности он еще долгие годы оставался учителем для всех, кто работал рядом с ним.

К студентам Фасмер предъявлял высокие требования. Кроме овладения современным русским языком он считал необходимым умение по меньшей мере читать на других славянских языках. По его мнению, знание законов, по которым развивались отдельные группы славянских языков из единого древнеславянского, необходимо для понимания современных языковых форм. Поскольку наиболее древними документами на славянском языке являются древнеболгарские церковные тексты, каждый первокурсник должен был изучить церковно-славянскую грамматику, быть в состоянии читать тексты из Евангелия и определять их языковые особенности. Русская культура в отличие от западно-европейской, берет свое начало в Византии, и вследствие этого дальнейшей посылкой Фасмера к изучению славистики было знание греческого. Такой объем материала требовал колоссального напряжения: у нас практически не было каникул. В то время студентов в перерывах между семестрами обязывали работать в деревне или на фабрике. В один из таких летних перерывов я сверлила отверстия в обшивке крыльев боевого истребителя Ю-87 —

а под столом у меня лежала греческая грамматика: приближался экзамен. Дополнительной нагрузкой в первые три семестра были обязательные курсы политического образования и спортивные тренировки для сдачи определенных норм. К следующему семестру допускали только после сданных по соответствующим предметам зачетов.

Большинству моих сокурсников русский язык давался легче, чем мне, поскольку они, как потомки эмигрантов из России, имели хотя бы минимальную начальную подготовку. Однако вскоре я уже не уступала им, и все благодаря помощи единственной русской в институте, Елизаветы фон Кнорринг. Ее родители принадлежали к огромному числу эмигрантов, обосновавшихся в Берлине после первой мировой войны. Эренбург называет в своих мемуарах Берлин 1920-х годов русской полосой отчуждения, поскольку многие известные советские литературные деятели некоторое время жили в Берлине: Есенин, Алексей Толстой, Маяковский, Горький, Ремизов. Различные советские издательства открыли тогда свои филиалы в Берлине. Таким образом им удавалось обойти трудности, возникавшие с советской цензурой. Однако тот круг, в который меня ввела Елизавета фон Кнорринг, и колония этих литераторов друг с другом никак не соприкасались. Причиной было наверняка то, что эти очень консервативно настроенные люди опасались контактов с русскими, которые поддерживали отношения с Советской Россией или имели намерение вернуться назад. Приверженные старым традициям эмигранты почти не знали послереволюционной литературы — она была для них чужой. Елизавета, ставшая вскоре моей близкой подругой, слышала что-то однажды об одном русском утопическом романе, изображавшем государство насилия, отгороженное от живой природы стеклянной стеной. То была замаятинская антиутопия «Мы»; которой мне много лет спустя довелось обстоятельно заниматься.

Через Елизавету — для нас она была просто Лилией, Лилли — я познакомилась с бытом русских. Вместе с ней мы читали русскую лирику, вводившую меня в мир русских чувств. Вместе мы посещали русские богослужения. Через нее же я узнала о

проблемах русской эмиграции. Особенно страдало молодое поколение: эти люди ощущали себя русскими, но никогда не видели России. Они любили фантом, страну, существующую лишь в воспоминаниях их родителей. Лилия, как и ее родители, надеялась на восстановление старого социального строя. Комната ее была украшена бело-сине-красным флагом; по настоянию старой няни, воспитывавшей еще ее мать, девушка регулярно молилась перед иконой. Эта няня казалась мне олицетворением простого русского человека, описанного Тургеневым, Толстым, Лесковым. Она встречала нас, молоденьких студенток, заботливо, но если ей приходилось не по вкусу наше поведение или манера одеваться, то могла и строго отчитать.

Главный упор в преподавании Фасмер делал на историческую грамматику различных славянских языков. Чтобы познакомиться с этапами их развития, мы изучали древние польские и сербские тексты, но основное внимание уделялось русским. К их числу относились: из времен Киевской Руси — летопись Нестора Сильвестра «Повесть временных лет», «Поучение» Владимира Мономаха, «Слово о полку Игореве»; из эпохи Московского государства — «Слово о Задонщине», переписка Ивана Грозного с князем Андреем Курбским, «Житие протопопа Аввакума». Фасмер был настолько переполнен разнообразными исследовательскими планами, что частенько на лекциях и семинарах рассказывал студентам о своей работе. Это делало его занятия увлекательными и живыми, но в то же время мы не раз замечали, что у него не оставалось времени на интерпретацию содержания в высшей степени интересных исторических документов — он попросту оставлял его без внимания. Больше всего мы занимались языковым анализом текстов. Лишь позже я заметила образовавшийся пробел и попыталась с помощью специальной литературы, к примеру «Истории древней русской литературы» Гудзия, пополнить общим культурно-историческим контекстом все то, что раньше изучалось мной только с филологической точки зрения. В моих еще сохранившихся студенческих конспектах можно найти и записи лекций молодых сотрудников Фасмера и

Юберсбергера, которые содействовали расширению моего понимания русской духовной истории. Тематика этих лекционных курсов выглядела примерно так: «Развитие древнерусского исторического сознания», «Позиция России по отношению к Европе», «Проекты русской Конституции XIX века», «Русский народный эпос». Однако в первые два года учебы я с головой ушла в чистую филологию, меня увлек сравнительный анализ языков, которым интенсивно занимался Фасмер. По схожим звукам и корням слов он находил нити, связывающие древнеславянские языки с еще более древними индоевропейскими и прослеживал соответствие у восточных, южных и западных славян. Так открылась мне — через язык — общая картина славянского мира.

Еще одной интереснейшей областью работы Фасмера было определение географической родины славян. Исследование заимствованных слов и анализ древних обозначений местности, прежде всего названий озер, мелких рек и ручьев, служили точками опоры и указателями в поисках мест происхождения и дальнейшего распространения славян. По данным его исследований, родину восточных славян, а значит и русских, следует искать в области, простирающейся к востоку от Галиции через земли Волини, Подолии, Киева, Чернигова, Могилева, Полтавы, Курска, Орла, вплоть до верхнего Дона. Он считал, что факт исчезновения из древнеславянского языка мореходных терминов подтверждает его тезисы. Надежды, с которыми я поступила в университет, оправдались: фасмеровское преподавание открыло для меня новые горизонты. Одно только исследование славянских географических наименований на территории Восточной Германии выявляло глубинные связи, существовавшие между историей славян и немецкой историей.

В годы войны — с 1939 года до момента, когда здание Института славистики в результате бомбардировки в последние месяцы войны было сильно разрушено, — из преподавателей и студентов образовалось маленькое замкнутое общество. Нам было известно, что за нами шпионили, и поэтому в присутствии каждого вновь приходящего мы вели себя настороженно до тех пор, пока он окончательно не обнаруживал своих убеждений.

Особенно часто подозрительные фигуры появлялись в Институте восточно-европейской истории. Помню одного в высшей степени шовинистически настроенного украинца, таинственного литовца, русского, назойливо стремящегося изучать немецкий язык... Мы избегали общения с этими людьми, догадываясь, что они могут быть политическими агентами той или другой воюющей стороны, а возможно, и обеих сразу. В это беспокойное время наблюдательность у всех была гипертрофирована: убеждения человека определяли по осанке, жестам, лексикону, которым он пользовался. Так однажды в студенческой столовой напротив меня сел парень, слушавший, как и я, обильно сдобренные пропагандой новости, при этом он продолжал с недогнувшим лицом спокойно есть. И мне было ясно: это единомышленник. И я не ошиблась — впоследствии он стал моим другом на всю жизнь.

Несмотря на всю осторожность, мы все-таки попали в опасную ситуацию. Это произошло из-за одного студента родом из Западной Пруссии, который, несмотря на немецкую фамилию, считал себя поляком. Мы понимали отчаяние, охватившее его, когда страшная судьба постигла польский народ. Беспокойно, однако, то, что он демонстративно носил конфедератку и без оглядки на всех, кто мог его слышать, выражал свою ненависть к гитлеровскому режиму. Однажды он в приступе безотчетной ярости бросился на землю прямо посреди Фридрихштрассе, и мне стоило большого труда помешать ему запеть во весь голос польский национальный гимн. Как немецкого подданного его вскоре призвали в армию. Он встретился мне еще раз, много позднее, уже в преображенном виде: теперь это был молодцеватый пилот-истребитель, который с гордостью показывал мне свои боевые ордена. Выходит, все его отчаяние, подвергавшее нас смертельной опасности, было не более чем истерическая поза.

Те немногие, с кем я могла быть тогда вполне откровенна, уже в начале войны были убеждены, что Германию ждет крах с ужасными последствиями для всех нас. Помню, как обескуражены мы были, узнав о быстрой победе над Францией. Я сидела как раз в своем рабочем закутке, углубившись в

изучение «Повести временных лет», когда в комнату вломился молодой научный сотрудник с возгласом: «Опять победа!». Во дворе института гремела победная песня, которую до этого передавали всякий раз, когда немецкому флоту удавалось потопить английский корабль.

Из-за многочисленных связей с восточно-европейскими учеными профессор Фасмер находился под особым надзором (ко всему еще его первая жена была полька). Постоянно ходили слухи, что его твердая, неудобная нацистам позиция, в конце концов, лишит его кафедры. Со студентами он о своих трудностях никогда не говорил, отношение к текущим событиям выражал сдержанно, но беспощадно осуждал любой намек на идеологически окрашенную или просто поверхностную псевдонауку. Особенно колкие замечания высказывал он в адрес работы признанного в СССР языковеда Н. Я. Марра. Постоянно подчеркивая необходимость добросовестной и обоснованной обработки филологических фактов, Фасмер внушал нам, что только путем кропотливого труда можно прийти к истине.

Преодолеть многочисленные сложности научной славистики нам помогала Маргарете Вольтнер, ассистентка Фасмера, позднее профессор. До сегодняшнего дня вспоминаю я с благодарностью ее великолепные уроки, знакомившие начинающих с основами церковно-славянского языка. Да и помимо занятий она всегда была готова помочь нам советом, подбодрить, вселить уверенность в способность соответствовать высоким требованиям Фасмера. Теплые, почти дружеские взаимоотношения, возникшие между нами и Маргарете Вольтнер, когда мы были студентами, сохранились на долгие годы. Доцента Института восточно-европейской истории Хедвигу Фляйшхакер мы, напротив, старались всячески избегать, поскольку она приветствовала всех без исключения молодежкам «Хайль Гитлер!». И только позднее я поняла, что она была талантливой ученой. Это подтвердили ее исследования «польского вопроса» в истории Европы и реформ Петра Великого, а также ее монография «Россия между двух династий (1598–1613)». У нее многому

можно было бы научиться, однако во время гитлеровской диктатуры политическое лицо человека было главным критерием для его приятия или неприятия.

Фасмер упорно сторонился нацистских мероприятий, хотя ему, как специалисту по славянским языкам не всегда удавалось уклоняться от поручений так называемого Восточного министерства, а точнее Министерства оккупированных восточных территорий, возглавляемого Розенбергом (позднее казненным по приговору Нюрнбергского процесса). Фасмер, однако, старался избегать тематики, отдающей нацистским духом, и, когда только мог, возвращался к научным исследованиям языковых и географических проблем. Активно привлекая к работе сотрудников и студентов, он предлагал им уделять внимание таким, например, темам, как «Изучение районов поселений российских немцев и их диалекта» или «Исследование русских диалектов и заимствованных слов». Мы, студенты, боялись этого «Восточного министерства» — ведь мы рассматривались как будущие его сотрудники, и прежде всего переводчики. В этом качестве мы должны были бы представлять оккупационные службы, выступая врагами поляков и русских, которым в действительности мы глубоко сочувствовали. Только благодаря настойчивым хлопотам Фасмера мы не были призваны на службу: ему удалось убедить Министерство, что мы либо еще не обладаем достаточными для работы знаниями, либо уже заняты другой, сверхважной, научной работой.

Чтобы получить, наконец, возможность познакомиться со своей родиной, моя подруга Лилия отправилась в 1942 году вместе со своим русским мужем, работавшим в немецкой строительной фирме, в Днепропетровск. Возможно, для вас, мои сегодняшние друзья, будет небезынтересно узнать, какой увидела свою родину 50 лет назад выросшая в Берлине молодая русская женщина. Вот что написала мне Лилия несколько месяцев спустя после приезда в Днепропетровск:

«То, что я успела увидеть, выглядит очень печально. Ужасающе велико количество представителей полуинтеллигенции, появившиеся за это время. Культурный уровень против прежнего

очень упал. Меня встречают сдержанно, но не враждебно; удивляются, что человек, приехавший из Берлина, говорит по-русски свободно, как здешний. Хотя все люди, с которыми я знакомилась, считали себя противниками сталинского режима, дискутировать с ними почти невозможно — слишком велика у нас разница в образовании, и прежде всего, в гуманитарной области. Церкви пусты. На богослужении видишь только нескольких старушек; но хотя люди всячески подчеркивают свое материалистическое мировоззрение, чувствуется, что им чего-то не хватает: совсем убить духовную жизнь не удалось. Мы будем величайшими в мировой истории глупцами, если снова не поднимем этот народ. Несмотря на то, что мне здесь все чуждо, я чувствую, что здесь моя Родина».

Круг моих русских друзей заметно расширялся: в Берлин приезжало много русских эмигрантов из других стран; прибывали в поисках работы специалисты, в основном технического профиля. В число моих друзей входили два молодых инженера, Лева и Володя, регулярно приглашавшие меня на прогулки. Они приходили всегда вдвоем, наверно, из-за старомодных рыцарских представлений о дружбе с легкой примесью соперничества, что мне очень импонировало. Немецкие же товарищи по университету, отпущенные с фронта для учебы на относительно короткий срок, зачастую обращались с девушками грубо, с явными сексуальными притязаниями. Они, вероятно, завидовали нашей возможности продолжать учиться, в то время как у них впереди была одна неопределенность, а может и смерть. Володя и Лева, напротив, так сдержанно добивались моего внимания, что я в моем рвении при любом случае практиковаться в русском языке, едва замечала их расположение, и мне в голову не приходило, что я должна одному из них отдать предпочтение.

Мои многочисленные знакомства с русскими (среди них был даже певец из знаменитого Жаровского казачьего хора) не только обогащали мой русский, но и давали мне возможность узнать некоторые особенности русского менталитета, например, совсем иное, чем у нас, отношение ко времени. В 1942 году я уже работала над своей диссертацией о проповедях Климента

Охридского, ученика славянских апостолов Кирилла и Мефодия. Климент Охридский был первым болгарским проповедником, использовавшим в своих проповедях не только переведенные с греческого, но и свои собственные тексты на родном болгарском языке, что дает ему право считаться основателем славянской литературы вообще.

Я привыкла каждый день составлять себе рабочее задание и на его выполнение выделять определенные часы. Но, как выяснилось, мои русские друзья имели весьма смутное понятие о каком бы то ни было распорядке. Они появлялись у меня, когда им вздумается, без предупреждения. И я тоже могла постучаться к ним в любое время и задержаться за разговором до глубокой ночи. Мы говорили чаще не о конкретных политических или идеологических вопросах, а о более общих, философских, глубину которых мы в нашей незрелости еще, конечно, не могли измерить: о смысле жизни и смерти, о существовании Бога, о происхождении зла. В таких горячих дискуссиях проходило время, подчас до полуночи: мы блуждали в тумане иллюзий, нисколько не считаясь с реальностью. Стояло жаркое лето. Ночи напролет мы витали в облаках. Помню, однажды до самого рассвета слушали мы на скамейке на берегу Шлактензее неустанный треск камышевки. Или тот грозовой ливень посреди ночи, когда уже не ходил общественный транспорт, и мы, сняв башмаки, бежали по Курфюрстендамм босиком к дому одного русского, безропотно приютившего нас. При таком образе жизни дело с Климентом Охридским никак не двигалось, и через некоторое время я вынуждена была ограничить эти беспорядочные дружеские прогулки.

Время, выпавшее на наши студенческие годы, не давало нам в принципе никаких поводов для веселья. Романтический период моей университетской жизни вскоре подошел к концу. Сегодня я понимаю его как бессознательную самозащиту против катаклизмов и жизненных сложностей, которые мы вынуждены были преодолевать. Некоторые из моих друзей погибли в первые же дни войны. С момента вступления нацистской армии на территорию России сообщения о погибших участились. Моему брату, получившему под Ленинградом тяжелое лицевое

ранение, угрожала слепота; близкому другу оторвало челюсть; другой был убит партизанами в санитарном поезде Красного Креста. В то же время мы, слависты, имевшие кое-какие связи с Польшей, иногда получали подробные сообщения о зверствах немецких карательных команд в Польше. О страданиях русского народа у нас было лишь приблизительное представление. Невозможно забыть выражение полного отчаяния или тупой апатии на лицах русских военнопленных в горчично-коричневых шинелях и деревянных башмаках. Этим несчастным часто перевозили тогда в обычных электричках, согнав их в плотную толпу и отделив от прочих пассажиров решеткой. Я не могла рассматривать этих бывших солдат как врагов. Для меня это были обычные люди, только раздавленные судьбой, жалкие, успевшие уже пережить то, что — как знать? — предстояло пережить и нам. И лишь через много лет узнала я от бывших русских военнопленных, какие страдания выпали на их долю в немецких лагерях.

В первом же семестре я получила от профессора Фасмера задание сделать фонетический разбор магнитофонной записи рассказа одного пленного родом, по-видимому, из Белоруссии: Фасмеру был разрешен вход в лагерь военнопленных Берлинского округа для изучения русских диалектов. Подробностей о визитах в лагерь мы от него никогда не слышали. Теперь, оглядываясь назад, я испытываю чувство стыда, что не задумывалась тогда о судьбе рассказчика, так живо обрисовавшего свою встречу с диким медведем. Как наяву помню я и сегодня его теплый, симпатичный голос. Тогда я не имела ни малейшего представления о том, что ждет этих военнопленных, даже если они выживут в немецком лагере, по возвращении на родину. Свою тогдашнюю душевную черствость я могу сегодня объяснить только тем, что беды, обрушившиеся в то время на всех без исключения людей, стали до некоторой степени привычными и притупляли способность к сопереживанию.

Бомбардировки усиливались. Теперь у нас, как и в России, разрушались города и люди гибли под их развалинами. Вместе с затемненными квартирами и погруженными во мрак улицами

мрачнели и души людей — никто не знал, наступит ли завтрашнее утро. Занятия в университете часто прерывались. Не очень-то рвущийся к работе Юберсбергер отсылал нас домой при малейшем намеке на воздушную тревогу. Фасмер же реагировал на предупреждающую сирену в самый последний момент. Однажды нашей группе славистов пришлось укрываться в совершенно необорудованном помещении университета под шатающейся полкой с гипсовыми бюстами греческих философов. Взглянув на угрожающе раскачивающиеся от детонации скульптуры, наш профессор лаконично заметил: «Какая честь — принять смерть от Сократа или Платона, а не от проклятой бомбы!».

Энтузиазм учителя и собственная интенсивная работа увлекали нас настолько, что мы едва замечали становившиеся все более тяжелыми условия жизни. Здания университета топились плохо. Мы работали в основном в пальто, частенько в намотанных на голову шалях. Кто мог раздобыть уголь, приносил его с собой в институт. Брикет угля был самым популярным подарком в то время. Размеры порций пищи все время сокращались, но, поскольку такие ограничения касались всех и каждого, мы принимали их как должное.

Курс лекций Фасмера по русской литературе заканчивался творчеством Пушкина и Гоголя. Над изучением писателей более позднего периода я должна была уже трудиться сама. Некоторые произведения Тургенева, Лескова, Льва Толстого были знакомы мне в переводе. Теперь же я составила для себя список книг для обязательного чтения в оригинале. Я начала с Достоевского и была поражена: Ницше назвал Достоевского единственным психологом, у которого он мог чему-то научиться. Увы, моему пониманию были недоступны ни ледяное презрение к людям Ставрогина, ни эксцентричность Настасьи Филипповны, ни покорность и подвластность судьбе князя Мышкина. Во-первых, мне не хватало для этого духовной зрелости; с другой стороны, реальность тех дней была столь трудно переносима, что где-то глубоко в подсознании, помимо моей воли, выстраивался некий заслон, оборонявший меня от всего демонического, чудовищного, бездонного, что вскрывал

Достоевский в человеческих душах. Ведь военное время с его ужасами, тревогами, страхом неопределенности, противоречивыми слухами, опасностями требовало от каждого, кто хотел выстоять, строжайшей самодисциплины, концентрации всех душевных сил, неустанной заботы о сохранении внутренних устоев. Герман Гессе писал в 1922 году, что Достоевский — это отказ от установленных норм этики и морали ради всепомятия и вседозволенности; Якоб Вассерман называл его новым славянским мифом, уже начавшим разрушение европейского духа; сходную мысль сформулировал феноменолог Макс Шелер: «Возможно, Ницше — это сублимированный конец, а Достоевский — огромное начало: конец западно-европейской культуры, покоящейся на античности, и начало — восточной, русской, происходящей от Византии». Как и подобает филологически вышколенной ученице Фасмера, я в пылу своей юношеской заносчивости отвергала казавшееся мне надуманным и преувеличенным восхищение Достоевским, охватившее немцев в 1920-е годы, и придерживалась мнения Томаса Манна, который в эссе «Достоевский, но в меру» советовал обращаться с его произведениями с мудрой осторожностью. Гений Достоевского, этого «поверенного ада», которому ведомы самые тайные лабиринты человеческой души, мне в моем тогдашнем состоянии был недоступен.

Ближе к концу учебы меня все более стали захватывать история и каноны православной церкви. Целью моей диссертационной работы о Клименте Охридском являлось исследование его позиции по отношению к греческим отцам церкви, которые служили ему образцом. Проповедовал ли он исключительно их учение или же, ориентируясь на свою болгарскую паству, выражал собственные мысли, учитывающие образ мышления и социальные отношения болгар? И в первую очередь принимал ли он во внимание политическую действительность, высказывался ли по поводу стремления болгарского князя Симеона к независимости? За три года до смерти Климента, в 919 году князь принял титул царя Болгарии и Греции и провозгласил автокефалию болгарской церкви. Тут мне пригодились мои познания в греческом, поскольку необходимо

было подробно изучать в оригинале греческую церковную литературу, в особенности труды Иоанна Златоуста и Григория Назианзина. Чтобы более отчетливо представлять себе православное богослужение, я решила прослушать курс по византийской и русской архитектуре и иконографии, а также по русскому церковному пению. Эти занятия оживили в моей душе христианские чувства, заложенные семейным воспитанием. Я стала регулярно посещать протестантские богослужения. Но и православные уже были для меня не только экзотическим представлением, а стали действием, в котором я и душой принимала участие. Я чувствовала, как святые заветы и древние ритуалы с их глубокой символикой, сформировавшие мировоззрение стольких поколений до меня, в это тяжелое время, накануне окончательной катастрофы, приводили в движение духовные силы человека и в то же время приносили ему успокоение и мужество.

В конце 1943 года я завершила обучение в университете защитой диссертации. Каков же итог? Я интенсивно занималась славянскими, в особенности русским и польским, языками и литературой. Россия уже давно перестала быть для меня сказочной страной детства. Однако о современной реальной России, о ее государственном устройстве, о социально-общественных отношениях внутри страны я все-таки еще не имела четкого представления. Слышала о жестоком раскулачивании, о насильственном переселении целых народностей, о процессах чистки партии и репрессиях, правда в самом общем виде, — точными фактами я не располагала. А между тем представить то, что происходило в Советском Союзе, легче всего было бы, проведя аналогию с жизнью при гитлеровской диктатуре. Впоследствии именно обстоятельное изучение опыта русских позволило мне найти некий способ бегства от действительности во «внутреннюю эмиграцию», осуждаемый сегодня прежде всего молодым поколением. Вы, мои друзья, тоже пережившие диктатуру, вы-то знаете, как сложен этот вопрос — личной вины каждого человека, принявшего диктатуру, не имевшего сил противостоять ей. Противостояние режиму со стороны достойных уважения

университетских преподавателей заключалось в их попытках, несмотря на политические предписания, сохранить традиции академической науки. Чтобы не запятнать себя русофобией, они старались избегать тем, касающихся Советской России. Следуя их примеру, я целиком и полностью сосредоточилась на научных изысканиях, относящихся к истории России дореволюционного периода. Сегодня я считаю, что именно эти интенсивные занятия историей досоветской России необычайно обогатили меня. Изучение древней литературы и исторических документов пробудило во мне пристальное внимание к народу, который своей оборонительной борьбой против монголов защитил Западную Европу, вынес на своих плечах иго Золотой Орды: вплоть до XVII века русских убивали, угоняли в рабство. Ключевский пишет, что по всему побережью Черного и Средиземного морей можно было в то время слышать русские колыбельные, которые пели пленные кормилицы чужим господским детям.

Я начала изучение русской культуры совершенно непредвзято, иначе, чем мои университетские товарищи, получившие от своих родителей-эмигрантов определенное представление о России. Отбросив неясные детские мечты, я пыталась путем точной научной работы познать чужие для меня формы жизни. Тютчев сказал: «Умом Россию не понять». Так оно и было для меня, немки, — меня ужасали фатализм, пассивное неприятие многими русскими требований времени, «обломовщина», склонность к анархии, крайним экстатическим проявлениям, чему немало примеров в истории России. Однако как раз эти недоступные пониманию стороны русского менталитета побуждали меня к новым и новым попыткам как можно глубже почувствовать русский образ жизни и поведения. Поэтому для официальной антирусской пропаганды я была, конечно, неуязвима. Но гораздо важнее оказалось то, что эта позиция помогла выжить мне и моей семье: когда дошло до реального столкновения с русскими во время битвы за Берлин и нам угрожала серьезная опасность, я могла спокойнее и увереннее, чем многие, встретить русского

солдата. Если бы я не знала о русских того, что знала, если бы не понимала их языка, не могла бы до определенной степени предугадывать их реакцию, это было бы невозможно.

Опыт военного времени

30

Уже до прямого столкновения с русскими солдатами я встречала советских русских, принятых на принудительные работы, — так называемых Ostarbeiter. Их использовали на фабриках и в сельском хозяйстве, а девушек и женщин также и в качестве домработниц в семьях. Поскольку большинство женщин было из деревень и не имело понятия о способах и требованиях ведения домашнего хозяйства в городе, все время возникали недоразумения и конфликты, вызванные как языковым барьером, так, и это главное, отсутствием человеческого взаимопонимания. Усугублялось все это тем, что женщины, насильно принужденные к труду, чувствовали себя униженно, бесконечно тосковали по родине и страдали от невозможности узнать что-либо о судьбе своих семей. Летом 1943 года к нам в дом тоже определили русскую девушку для помощи по хозяйству. Ольга была родом из украинской деревни, говорила по-русски, так что понимать мы друг друга могли. Однако, несмотря на все мои старания, она держалась отчужденно и замкнуто. До сих пор вижу ее перед собой, в натянутом на лоб белом платке — упрямо убегающий взгляд, сжатые губы. Что должно было происходить в душе этой девушки, отрезанной насильно от привычной деревенской среды, от семьи?.. Вероятно, при ее беспомощности это пассивное противостояние и было единственным средством сопротивления своей судьбе. Она отказывалась работать, почти ничего не ела, постоянно жаловалась на боль в груди, но на медицинское обследование не соглашалась. Все мои попытки поговорить с ней, убедить, что я не враг ей, а напротив, сочувствую, оставались безуспешными. Я никак не могла найти к ней подход и вынуждена была признать, насколько плохо я разбиралась в психологии народа, с которым считала себя до

некоторой степени знакомой. Через несколько недель я заметила, что Ольга собирает сухари и прячет под кроватью. Очевидно, она хотела бежать в бессмысленной надежде пробиться на родину. Но что меня особенно поразило и тронуло: среди вермишели, гороха и сухарей я обнаружила стихи Некрасова и Тютчева, которые Ольга отыскала в моем книжном шкафу. Эта девушка простого происхождения искала утешение в русской лирике! После разоблачения Ольга стала еще упрямее, вообще перестала есть и разговаривать, словно окаменела. Наконец я решила сообщить в бюро, занимавшееся вопросами Ostarbeiter, что девушка не подходит для работы в городском домашнем хозяйстве и, возможно, ей будет лучше на фабрике, где работают ее соотечественники. Сейчас я сомневаюсь в правильности своего решения, но тогда мне ничего не было известно о штрафных лагерях для Ostarbeiter. О дальнейшей судьбе несчастной девушки я не могла узнать ничего.

Сменила ее Валя, библиотечка из Киева. Благодаря своему дружелюбному нраву, она сразу же прижилась в моей семье. Работала она неустанно и незаметно, нежно ухаживала за моим маленьким сыном Томасом, которого называла Томик, стойко переносила с нами ночные бомбардировки. У Вали было много друзей, и мой дом вскоре превратился в место встреч пригнанных русских рабочих. Они громко пели под гармонь, играли в шахматы, всегда находили ласковое слово для моего маленького сына. Мне казалось, что друзьям Вали, приходившим из ближайших деревень и Потсдама, жилось неплохо. Они не носили нашитого на одежду унижительного голубого четырехугольника с белыми буквами Ost, отличительного знака «большевистского сброда» — так на языке нацистов назывались эти люди. Но они рассказывали о своих товарищах на фабриках: как они страдают от непосильного труда, но прежде всего от недостатка пищи. Их бедственное положение потрясло меня. Тогда я еще не понимала, что условия жизни этих пригнанных рабочих были не только следствием нашего общего недостатка во всем, скудного питания военного времени, но являлись элементом системы нацистской

политики подавления восточных народов. Поэтому я и отправилась к начальнику отдела кадров мастерских «Сименс», знакомому моих родителей, чтобы обратить его внимание на невыносимые условия жизни в лагере, куда были помещены Валины друзья. Он вежливо выслушал мои претензии, но сказал, что помочь не в состоянии, поскольку размещением и вопросами питания Ostarbeiter руководят высшие инстанции. В одном случае мне все-таки действительно удалось помочь: меня позвали в дом, где домработницей была сербка, с которой очень трудно было объясняться. Услышав мое приветствие «Добар дан!», она опешила, не осознав поначалу, что я, иноземка, обращаюсь к ней на ее родном языке. Затем кинулась ко мне со слезами, стала обнимать и целовать, приговаривая: «Добар дан, добар дан!». А когда мне спустя некоторое время удалось разыскать в берлинском лагере ее мать и сестру, на меня вылился поток бьющей через край сердечности, свойственной славянам, и меня одарили последним, что оставалось у этих женщин.

Некоторые друзья Вали приходили издалека, чтобы одолжить у меня русские книги. Как наяву стоит и теперь передо мной долговязый Петр из Борнима, деревни в окрестностях Потсдама, с мешком картошки на плечах — благодарностью за сборник Достоевского, который он брал у меня почитать. Мне было любопытно, что он думал о содержании «Бесов», но тогда не хватало времени для тихих бесед — каждый день был загружен физической работой до крайней степени. Все было направлено на то, чтобы выжить. Лишь сегодня я понимаю, как замкнуты были эти люди, — Валя и ее друзья. Несмотря на дружескую расположенность, они никогда не жаловались, не рассказывали ничего о жизни в России, о работе, о семьях, об их взглядах и интересах. Кого боялись они? Доноса с нашей стороны или шпионов и информаторов среди собственных знакомых? Лишь к концу войны, перед скорой репатриацией, они признались, что с гораздо большим желанием остались бы в Германии. Валя далеко не была уверена, попадет ли она домой. Много позже я узнала, что принудительно угнанные советские Ostarbeiter после войны

оказались не в родных местах, а в штрафных лагерях. Что же стало с Валею, Петром, Васей?.. Жив ли хоть один из этих скромных добросердечных людей?

В последние месяцы войны жизнь в Берлине стала невыносима. Носились дикие слухи и догадки. Будут ли американцы форсировать Эльбу или оставят нас русским? Самые стойкие еще надеялись на чудо-оружие или на армию Венка, стоявшую наизготове к западу от Берлина на случай осады города. Геббельс подогревал панические настроения, расцвечивая в своих речах зверства русских садистскими подробностями. Кто мог, покидал Берлин. Мне пришлось с разочарованием узнать, что друзья, уверявшие, что мы вместе встретим грозное грядущее, вдруг исчезли не попрощавшись. Родственники на западе страны уговаривали срочно перебираться к ним. По их словам, я была последней из родных, кто еще оставался в этом опасном городе. Верный Лев Львович, один из двух русских инженеров, регулярно бывавших у меня прошлым летом, позвонил и сказал, что у него есть место для меня и малыша на последнем поезде беженцев. Он настаивал, чтобы мы ехали с ним. Почему я не приняла это спасительное предложение? Во-первых, я считала своим долгом поддержать родителей, которые не хотели покидать дом, к тому же меня не оставляло ощущение, что лучше положиться на судьбу и не бежать от нее. И потом, я не верила пропаганде Геббельса и рассчитывала на свое знание русского языка.

Угрожающих признаков того, что битва за Берлин вот-вот начнется, становилось все больше. День и ночь был сигнал воздушной тревоги. Пригнанные из России рабочие обязаны были регистрироваться на сборных пунктах: власти боялись саботажа с их стороны — оказания помощи приближающейся Красной Армии. Валя плакала, когда покидала нас. Как хотелось ей остаться! Она, конечно, знала, что ждет ее впереди. Больше мы никогда о ней не слышали.

В последние две недели перед взятием Берлина все улицы, ведущие на запад, были переполнены беженцами и колоннами военных. И по нашей маленькой пригородной улочке тянулся бесконечный поток беженцев. Все было устремлено на запад,

за Эльбу. Изголодавшиеся и обессиленные падали и оставались лежать. За несколько дней до взятия Берлина неожиданно появился мой муж, отважившийся перед марш-броском на запад без разрешения напоследок повидаться с семьей. Прощаясь, мы сознавали, что предстоит катастрофа с непредсказуемыми последствиями. В эти последние дни перед битвой за Берлин атмосфера была накалена до предела. Стояла чудная весенняя погода. А у меня было жуткое ощущение, будто я хожу по лезвию бритвы. Вокруг деревья в цвету, лазурное небо, и все же захват Берлина — так близко! Памятен мой последний поход в Оперу. Играли «Неоконченную» Шуберта. Когда я шла обратно через вымершие в ожидании воздушной тревоги улицы, у меня было такое настроение, будто я уже оттолкнулась от действительности, будто меня уже раздавила надвигающаяся беда. Музыка Шуберта была для меня прощанием с прежней жизнью.

Под грохот артиллерии, подходившей все ближе, паника в нашем предместье достигла наивысшей точки. Ненависть и массовое безумие выплеснулись наружу. В эти последние дни войны на меня грозили донести как на пораженку, так как в беседе с моей знакомой я упомянула о некоторых делах, запланированных на время «после...». К счастью, все обошлось. Один из наших соседей, не выдержав нервного напряжения, бегал по улице и кричал, что он застрелит свою жену. Позднее я услышала о самоубийствах целых семей. И это происходило в непосредственной близости от нас. Незадолго до захвата нашего предместья я встретила человека, везущего на ручной тележке труп собственной жены. По мне пробежала холодная дрожь: меня охватило предчувствие, что и мне осталось недолго жить. В первый раз я раскаялась в том, что осталась в Берлине.

В ожидании грядущего мы закопали в саду все ценности, фарфор, серебро, документы, консервы; многое другое попрятали в перекрытиях крыши, в подвале сложили из кирпичей запасной очаг на случай отсутствия электричества. Мы уже давно были без воды, и поэтому, несмотря на стрельбу на другом берегу, я стирала и полоскала детские

пеленки в ближайшем озере. Однако тогда мы как-то притерпелись к той исключительной ситуации, в которой мы все пребывали.

Наш дом находился по-соседству с центральным складом немецкого Красного Креста. Обыкновенно на складах Красного Креста имелось все необходимое: продукты, одежда, медикаменты, одним словом все то, что могло понадобиться в первую очередь. Все руководство, в том числе Верховное командование, бежало дня за два до наступления русских. Одна женщина, еще остававшаяся при исполнении служебных обязанностей, сообщила нам, что основная часть запасов перевезена колонной белых автобусов Красного Креста на запад. Для остающихся не выделили ничего, кроме ампул с цианистым калием, которые и были розданы по семьям в соответствии с количеством людей. Лишь благоразумие старшей по рангу среди оставшихся служащих Красного Креста предотвратило массовые самоубийства. Она собрала подчиненных и призвала их стать примером для населения — мужественно переносить надвигающиеся испытания, уповая на помощь Господа. После этого она отобрала розданные ампулы. Это было спасением для всех, поскольку русские, захватившие вскоре склад, узнали о смертоносных ампулах и потребовали их сдать, подозревая, что сами могут стать жертвами отравления.

После побега руководства Красного Креста на неохраняемые склады обрушился поток грабителей. Люди, не знаящие, будут ли они в ближайшее время живы, хватали как одержимые все нужное и ненужное. В день перед «часом ноль», как это называлось официально, мы вместе с соседями сумели провести важную акцию: совместными усилиями весь спирт, который нам только удалось разыскать на складах, мы закопали в страхе перед тем, что могут натворить после победной пирушки пьяные завоеватели.

И вот началось... В ночь на 26 апреля раздалось пугающе раскатистое «Урра-а!». Это русские войсковые подразделения достигли лагеря, в котором еще находились иностранные рабочие самых разных национальностей, и праздновали там

с ними освобождение. После полной страхи ночи ранним утром я услышала глухой грохот на улице. Два русских танка стояли перед нашим садом. Тогда я подумала: лучше уж выйти прямо навстречу опасности. Взяв ребенка за руку, я приблизилась к танкам. Мой маленький сынишка, никогда не видевший таких машин, заковылял обрадованно навстречу и заулыбался вылезавшим наружу солдатам. Они приблизились к нам и вдруг — протянули ребенку хлеб. И вот тогда старая жизнь окончательно ушла в прошлое. События сменяли друг друга быстро, как в кино. Врываясь в каждый дом, солдаты первым делом перерезали все имеющиеся кабели, обследовали помещения в поисках оружия и прячущихся военных и растолковывали нам, что жилища должны оставаться открытыми и днем и ночью. Когда я дала понять, что знаю русский, меня сразу же спросили, сколько мне лет (мы, женщины, нарядились во все самое старое и страшное), затем посадили в машину и повезли в комендатуру, где мне были вручены инструкции для жителей нашего предместья.

С того дня мы стали жить в каком-то странном мире, и пережить это время удалось не многим: нацистское государство было разрушено, официальных учреждений, куда можно было бы обратиться, не существовало, не действовали никакие законы, не было никакой защиты, никакого снабжения. Каждый должен был сам справляться со своими проблемами. Жителям нашей маленькой улицы повезло. На захват здания Красного Креста были откомандированы танковые группы, которые вели себя достаточно дисциплинированно. Расквартированный у нас офицер попросил меня сообщать ему о злоупотреблениях со стороны солдат. Угрожающе распухшими и жадными на поживу выглядели по сравнению с ними солдаты сменного транспортного эшелона, который целый день тащился на лошадях через нашу улицу. Добрый рок защитил нас от размещения этих солдат в наших домах.

Вскоре доброжелательный офицер-танкист был сменен другим, который предоставил своим подчиненным свободу действовать по их усмотрению. Ходили слухи, что после захвата Берлина солдатам на какое-то время была обещана полная свобода.

И значит то, насколько будет разорен каждый из нас оgrabевшими за долгие годы войны и лишений, настроившимися на грабеж солдатами, зависело либо от счастливых обстоятельств, либо от нашей предусмотрительности. Многие солдаты, как в архаические времена, считали женщин своей законной добычей. Изнасилованиям, происходившим в нашей округе, не было числа. При этом над жертвами все время висела угроза заражения венерическими заболеваниями — поговаривали, что многие русские были заражены ими в Польше. Потому-то врачи, располагавшие средствами от этих болезней, пользовались большой популярностью и имели возможность выменивать свои медикаменты на продукты. Не припомню, до какого времени в больницах женщинам делались бесплатные аборты, если те утверждали, что были изнасилованы. Это правило действовало как минимум до конца 1945 года. Жертвами насилия со стороны солдат становились и русские девушки. Мне довелось видеть русских девчат в военной форме, страшно боявшихся, что их против воли затащат в танк, а оттуда уже не будет никакой возможности выбраться. Случалось ли такое в действительности, не знаю, но с двумя немками-подругами именно так и произошло. Их схватили как беженок танкисты в Фюрстенвальде и две недели не отпускали, пока их не освободил какой-то офицер. Наши дома должны были оставаться открытыми, и поэтому их беспрепятственно разоряли, крушили все внутри, бессмысленно палили из автоматов куда попало. Во время одного из таких «мероприятий» выстрелом задело какого-то солдата. Его положили на улице на покрывало и оставили умирать, не оказав помощи. В те дни человеческая жизнь не значила ничего... Не соблюдались никакие международные конвенции. Швейцарская машина Красного Креста, маркировка которой не оставляла сомнений, была уничтожена взрывом гранаты вместе со швейцарцем-водителем; один мой знакомый голландец, считавший, что он, как иностранец, в безопасности, предъявил свой паспорт и был расстрелян на глазах у жены, как и множество немецких мужчин, без разбору причисленных к бывшим нацистам. Скорее всего, солдаты вообще были не в состоянии прочесть паспорт голландца.

В первые недели после взятия Красной Армией нашего предместья у нас царил хаос. Выжили лишь те немногие, кто был в состоянии выдержать непривычные испытания, кто заблаговременно побеспокоился о запасах продовольствия. Мне приходилось с рождения держать моего ребенка на самом скудном рационе, и только поэтому он пережил те первые недели, когда нам не выпадало почти ничего из съестного. К тому же и среди солдат, и среди немцев с соседних улиц быстро разнеслась весть, что я знаю русский, и наш дом вскоре превратился в центр обмена. Немцы приносили то, что пользовалось у русских наибольшим спросом: мужские костюмы, обувь, велосипеды, украшения. Взамен солдаты предлагали добытое на складах Красного Креста: тушенку, масло, сухое молоко и другие продукты. Торговля разворачивалась ночью. Очевидно, это делалось нелегально, поскольку на фонды Красного Креста русская военная администрация наложила арест. За свою посредническую деятельность я удерживала определенный процент, так что моя семья в то голодное время была обеспечена самым необходимым. И, несмотря на это, наша жизнь была скудна, мой маленький сын рос хилым...

... То были тоже танкисты-солдаты, которые снова расквартировались на нашей улице. Однажды мой сын пропал. Я металась от дома к дому и, наконец, обратилась к одному из солдат. Он указал, дружелюбно ухмыльнувшись, на свою квартиру в конфискованном доме. Войдя в комнату, я увидела своего сынишку на столе, вокруг него — солдат. Они пичкали его хлебом. Меня начали уговаривать: такой милый мальчик, отдай — мы возьмем его с собой в Россию, ведь у тебя он пропадет с голоду, а ты еще себе нарожаешь. Но я возразила, что сама смогу его выводить, и забрала сына. Спустя некоторое время эти добродушные солдаты покинули наши места. И утром, после их ночного отъезда, я обнаружила перед забором нашего сада мясо — чуть не полкоровы — с запиской: «Для ребенка». Этим мясом кормилась достаточно долго вся наша компания вместе с соседями. О подобных случаях помощи русских солдат немецким детям можно прочитать у маршала Жукова в его воспоминаниях.

Тяжелы, опасны для жизни были последние дни битвы за Берлин, но мне все время везло. Как я уже упоминала, на взятие центрального склада Красного Креста была направлена относительно дисциплинированная воинская группа. Имело значение и то обстоятельство, что при захвате наших улиц не было оказано сопротивления — у нас не было немецких солдат, тогда как лишь двумя километрами дальше, на переправе через канал, образующий западную границу города, шли ожесточенные бои. Там гражданскому населению пришлось туго: мало кто из женщин избежал изнасилования, мужчин расстреливали без всякого основания. Мне помогало то обстоятельство, что я понимала солдат и могла с ними говорить: кто-нибудь из них все время приходил мне на помощь и выручал в трудных ситуациях.

Однажды наш дом штурмовала орава пьяных солдат. И тогда один из таких моих защитников улегся ко мне в кровать — так я избежала изнасилования. Иногда возникали сцены, не лишённые комичности. На ночь я пряталась по обыкновению в подвале или на чердаке. Но однажды, обессилив от усталости, я заснула прямо на кушетке. Когда я открыла глаза, передо мной стоял долговязый парень. Я думала, что тут-то уж мне пришел конец. Но парень застенчиво произнес: «Ты не можешь дать мне иголку с ниткой? Я хочу пришить себе пуговицу». Не знаю, что бы произошло, если бы я его не поняла, — многие солдаты не могли себе даже представить, что, кроме русского, существуют еще и другие языки. Вот еще один случай: правда, ситуация тогда сложилась весьма угрожающая. Какой-то солдат втащил меня в комнату и, не оставляя сомнений в своих намерениях, загородил выход. Я успела лишь подумать: итак, «это» произойдет прямо перед фотографией моего мужа! Мне страшно не хотелось разделить участь множества женщин. Материться я не умела, но мне пришло на ум словечко «сволочь», прочитанное у Достоевского. Вот это слово я и крикнула ему в лицо. Солдат изумился и тоже начал кричать на меня: «Что ж ты сразу не сказала, что наша?!» — и дал мне пинка. Я слетела с лестницы, но была спасена. Один из товарищей этого солдата потом говорил мне, что от него лучше

держаться подальше, — с его семьей в России произошло нечто ужасное, и он был полон жажды мщения. Тот сострадательный солдат неоднократно помогал мне и в дальнейшем. Он часто сопровождал меня на улице и даже на обходной тропинке, ведущей через сады, в заборах которых были проделаны лазейки, чтобы можно было пробираться от одного дома к другому и при этом оставаться не замеченным с улицы. Но однажды я, несмотря на всю осторожность, все-таки попала в руки красноармейцев. Обычно я уходила с нашей улицы, когда неуправляемые солдаты чинили там разбой, к своим друзьям в их расположенный поодаль дом. Если в тот дом вламывались русские, якобы для поисков скрывавшихся нацистов, я обычно забиралась на крышу и пряталась за дымовой трубой. Однако в тот раз я просчиталась, появилась в доме слишком рано и была схвачена. Русские выстроили всех женщин этого дома вместе со мной в ряд и стали угрожать автоматами. Мы боялись думать, что нас ждет. Наконец, они выбрали себе пышную словачку, в прошлом пригнанную на принудительные работы. Она должна была последовать за ними и разделить судьбу, постигшую многих. На меня, жалкую и тощую, они не обратили внимания.

Сегодня даже трудно представить себе все то, что тогда являлось будничной реальностью. Мне вспоминается жуткая картина: нескончаемый поток иностранных рабочих — французов, бельгийцев, голландцев, ехавших на телегах или кативших перед собой ручные тележки с национальными флажками. Все они стремились на Запад — и все переезжали, даже не взглянув, тело немецкого танкиста, лежавшее посреди улицы. С таким же равнодушием проходили люди мимо мертвого русского, свесившегося из люка застрявшего в канаве танка. Так, не принимая происходящее за реальную действительность, люди привыкали к чудовищному. Прежняя жизнь с ее этическими и моральными нормами, казалось, не вернется никогда.

Примерно спустя четыре недели после падения Берлина детям начали выдавать молоко и хлеб. До места раздачи приходилось порой добираться часами, и женщины объединялись в группы:

в любой момент на дороге можно было ожидать нападений. «Фрау, ком!» — звучало обычное вступление. Случалось, безобидные уличные прохожие затаскивались на грузовики и увозились для выполнения каких-либо работ. При этом они не знали, когда вернуться домой и вернуться ли вообще. Если необходимость заставляла идти куда-либо поодиночке, в темноте, то нужно было держаться середины улицы, чтобы при возможных происшествиях иметь больше шансов спастись. Уже в мирное время в течение многих лет я вела себя подобным же образом, и этот способ передвижения, а также постоянно повторяющиеся кошмарные сны, в которых я видела преследователей в русской военной форме, были признаками глубокой душевной травмы, нанесенной мне впечатлениями последних месяцев войны.

Наше и без этого зыбкое положение стало особенно угрожающим в июне 1945 года, во время подготовки Потсдамской конференции, начало которой было назначено на середину июля. Предместье Бабельсберг, восточнее Потсдама, где мы собственно и жили, было выбрано для расселения высших представителей стран — членов коалиции: Сталина, Эттли, Трумэна и их сотрудников. Советы, несшие ответственность за безопасность членов коалиции, предоставили себе полную свободу действий: конфисковывали самые большие и удобные виллы в окрестностях — владельцы должны были в течение часа их покинуть — и арестовывали без особого разбора всех кажущихся им подозрительными жителей мужского пола. Из тех арестованных, кого я знала, вернулся только один юноша, бывший солдат, так как у него была начальная стадия туберкулеза.

С началом конференции у нас стали появляться также солдаты и других стран — членов коалиции: американцы, французы, англичане. Они снабжались всевозможными продуктами, и вскоре у нас развернулся богатый «черный рынок». Американские солдаты несли сигареты, шоколад, консервы и меняли их у немцев на украшения, фарфор, картины, ковры. Цены пересчитывались тогда обыкновенно на «сигаретную валюту»: одна сигарета равнялась 12 маркам. На улицах появились

кокетливо одетые девушки. С яростью наблюдали русские солдаты, как охотно шли молодые немки на сближение с западными союзниками, превращались в «солдатских невест», курили западные сигареты, жевали шоколад, пользовались вещами, которые русским с их скудным снабжением были недоступны. Однако, поскольку мы принадлежали к зоне, занятой советскими войсками, с окончанием Потсдамской конференции в августе 1945 года солдат западной группировки увезли. Оживленный обмен продуктами кончился, и кокетливые девушки исчезли, как будто никогда их и не было.

42

Единственными господами в нашем уголке стали опять Советы. Слух о том, что в нашем доме понимают по-русски, постепенно распространился и среди солдат, расположившихся здесь на более долгий срок. К тому же на нашей двери висела русская табличка, на которой было написано, что мой отец назначен военными властями старшим в нашем предместье. Так и получилось, что ко мне стали часто приходить русские солдаты, предпочитавшие проводить свободное время у нас. В то время как у американцев, англичан или французов были свои казино, у советских солдат не было никаких условий для проведения досуга. К своему удивлению, я обнаружила, что мне, немке, они доверяли больше, чем своим собственным товарищам, поскольку, когда им выпадали длительные дежурства, приносили приобретенные вещи — велосипеды, часы, украшения — ко мне на хранение. Солдаты, с которыми я таким образом познакомилась, оказались простыми неприятельными людьми. Они радовались русским грампластинкам, играли с ребенком, пели, как когда-то Валины друзья, под гитару. Только наши взаимоотношения теперь перевернулись — эти русские не были пригнаны в Германию принудительно, они были победителями. Как отличались молодые советские девушки-регулирующие в нарядных, плотно облегающих формах, с задорно сидящими на головах пилотками, гордо и ловко взмахивающие на перекрестках своими флажками, от тех унылых апатичных русских лагерных женщин, понуро бредущих по дорогам!

И все-таки многие из русских, прежде всего, конечно,

деревенские, чувствовали себя неуверенно за границей — наша обстановка была им чужда. Они не были знакомы ни с системой водоснабжения, ни с канализацией, некоторые мыли себе волосы в унитазах, другие чистили в туалетах овощи и картофель. Они могли прийти в ярость, если из перекрытого водопроводного крана не начинала течь вода, после того как они стучали по нему или по стене. Часто в домах в полу нижнего этажа с определенной целью просверливались дырки — в подвалах нагромождались фекалии. Если велосипед, на который они кое-как забирались, не начинал двигаться сам по себе, они его разбивали вдребезги, потому что «машина ни на что не годится» или потому что «коварные фашисты нарочно ее повредили». Таких досадных недоразумений было множество, поскольку в большинстве случаев объясняться между собой русские и немцы не могли. Языковой барьер усиливал неуверенность красноармейцев, за которыми я в отличие от других союзных войск имела возможность наблюдать непосредственно.

Вот один такой пример. Русские освобождали военнопленных из лагеря, расположенного неподалеку от нас. В нем помимо славян находились англичане и французы. Красноармейцы собирались устроить большой победный праздник, начались объятия, поцелуи. Однако англичане так же, как и французы, бесцеремонно уклонились от общения, чураясь пьяной попойки, в которой собственно и заключался победный праздник.

То же чувство неуверенности, в какой-то степени даже своей неполноценности по сравнению с западными солдатами, проявилось и во время Потсдамской конференции, когда в соперничестве за благосклонность немецких девушек красноармейцы явно проигрывали. В то время мне многое в поведении русских солдат было непонятно. Сегодня, после моих поездок в Россию, я могу более точно представить, как пугающе должен был действовать наш мир на русских солдат, в недавнем прошлом простых крестьян. Меня удивляло, что в конфискованных домах они выбирали для ночевки самые маленькие комнаты. В больших помещениях они чувствовали себя, наверно, неудобно. Было видно, что они не привыкли

обращаться с частной собственностью, бессмысленно разрушали то, что могло бы принести пользу им самим. С течением времени я, воспитанная в прусской пунктуальности, установила, что для них не существовало четкого разграничения понятий «разрешено» и «запрещено». С низшими чинами армейского начальства солдаты всегда умели договориться в обход предписаний, ко взаимной выгоде. Подчинялись они лишь в случае применения крутых мер со стороны высших чинов.

Бесспорно, многие солдаты, которых мне пришлось тогда повстречать, опьянев от ощущения победы, находились не в обычном психологическом состоянии. Это и приводило к несдержанности, отсутствию чувства меры, эмоциональной непредсказуемости и, следовательно, к спонтанным действиям. Такое состояние порой имело печальный исход, как и в случае, свидетельницей которого я оказалась.

Наш дом в числе многих других был конфискован в апреле 1946 года для расквартирования в нем русских офицеров. В течение четырех часов мы обязаны были его покинуть. Дом достался старшему лейтенанту, который жил с немецкой женщиной, имевшей от него ребенка. Офицер вел себя с нами очень доброжелательно, разрешил вывезти из дома задним числом то, что мы не успели при внезапном приказе покинуть его, позволил моему сыну, как и прежде, играть в саду. Восхищенный условиями жизни за Западе, он решил вместе с братом своей немецкой подруги бежать. Этот шаг требовал тщательной подготовки. Без сомнения, немцы, хорошо знавшие окрестности, готовы были им помочь. Однако позже я узнала, что он попытался совершить побег, совершенно не подготовившись, в полном обмундировании, и вместе с братом подруги был схвачен на границе. Больше о них обоих никто из нас никогда не слышал. Женщине, жившей при нем, прежде вполне благополучной, теперь пришлось туто одной с малышом. Она считалась советскими властями политически неблагонадежной, должна была каждый день отмечаться в комендатуре и в то же время презиралась многими соотечественниками, как «подруга русского». Я ничего не знаю о ее дальнейшей судьбе. До сих пор напоминают о несчастной паре их инициалы, вырезанные на скамейке в нашем саду.

Когда я обращаю свои мысли назад, к ужасным дням битвы за Берлин и к первым месяцам после заключения мира, мне трудно осознать, что я вышла из всего этого невредимой. Помню, как в один из особенно трудных моментов мне вдруг пришло в голову: «Теперь понимаю крайности героев Достоевского!». Есть одна немецкая баллада о рыцаре, скакавшем через заледеневшее, покрытое снегом Бодензее. Рыцарь принял поверхность озера за поле и, лишь выйдя на противоположный берег, понял, какой опасности он избежал. То же было и со мной. Я прошла через это время невредимой, просто не осознавая до конца размеров опасности. Конечно же, мне помогло то, что я уже давно была внутренне подготовлена к этим ужасам и, рассматривая их не как произвол и несправедливость, а как следствие политики Гитлера, принимала их за должное. В феврале 1945 года я писала в своем дневнике: «Маятник качнулся в обратную сторону. Внутреннее страдание превращается во внешнее. Это легче переносить». Однако не рискну утверждать, что не впала бы в панику, если бы мне стало известно об ужасных страданиях людей, принявших на себя первые удары при вторжении Красной Армии. Я давно старалась побольше узнать о культуре и образе жизни русского народа, и это, безусловно, помогло мне. Я не могла смотреть на всех встречавшихся мне русских как на врагов, я смотрела на них как на людей другой культуры, которых к тому же, как и нас, немцев, постигла военная катастрофа. Уверена, такая точка зрения разделялась и некоторыми русскими, и именно среди них я находила понимание и поддержку. Один молодой офицер сказал мне по-французски — к чести его сказать, совершенно без акцента — наверняка, чтобы не быть понятым стоящими вокруг него: «Радуйтесь, что Вы немка, а не русская. Если даже сегодня ваше положение безнадежно, скоро у вас будет снова все хорошо». Другой предупреждал: «Покуда мы здесь, с вами ничего не случится. Мы нормальные люди. Но если придут другие, политработники с синими погонами, вам нужно быть настороже».

Один раз я оказалась в весьма опасной ситуации: меня арестовали за то, что я зашла на территорию не очень четко обозначенной запретной зоны. Патрульные уже повели меня на пункт для отправки в сборный лагерь. Но, в конце концов, мне удалось убедить их, что мой отец тоже работает по поручению комендатуры. Парни действительно пошли к нашему дому, чтобы удостовериться в этом. Прочитав русскую табличку на двери, они освободили меня, проворчав: «Чтобы больше не повторялось!». Вот так, несмотря на атмосферу опасности, окружавшую меня, на пути нет-нет да и возникали люди, встречи с которыми вселяли надежду. Как-то я спросила молодого солдата, казавшегося очень подавленным: «Почему Вы так расстроены? Ведь Вы скоро будете дома?». Он ответил: «Мы еще не в Берлине. Кто знает, что нас ждет...»; потом взглянул на мой рояль и попросил: «Не могли бы Вы что-нибудь сыграть?». И в утешение нам обоим я сыграла Шуберта.

После окончания боев в лесу, окружавшем наше берлинское предместье, лежало много павших, как русских, так и немцев. Мы хоронили их, и мне бросилась в глаза странная особенность: на немцах мы находили опознавательные медальоны, у русских же не было никаких значков с данными о них. И когда мы опускали их в землю, я думала о русских женщинах, ждавших этих ребят, о женщинах, которые уже никогда не смогут узнать, где их дети встретили смерть. Теперь Россия не казалась мне ни сказочной страной детства, ни страной жестокого диктатора — она превратилась для меня в страну великого траура, в страну плачущих матерей. Самые живые встречи у меня были с молодым украинцем по имени Гриша. Он полагал, что «такого симпатичного человека [то есть меня — Авт.] нужно обязательно обратить в коммунистическую веру», и приходил в наш дом часто, чтобы давать мне уроки политграмоты. 8 мая, в официальный день окончания войны, — об этом мы, не получавшие никаких новостей, ничего не знали, и для нас война окончилась 26 апреля, в день взятия Бабельсберга, — Гриша пришел с бутылкой водки, сияя от радости: «Праздник, мир! Иди, давай выпьем!» — вдруг умолк, посмотрел на меня

сочувственно и произнес: «Но ведь ты же не можешь праздновать — ты же проиграла эту войну...». Однако в следующий миг глаза его вспыхнули и по-доброму, почти по-детски, засмеявшись, он сказал: «Ну ничего, давай-ка отпразднуем то, что мы оба остались живы». Как бы мне хотелось вновь повидать этого Гришу! Сейчас он, должно быть, уже совсем старик.

В Гришиных словах мне послышалось именно то приятие жизни, которое провело меня через трудные последние дни войны. Когда привычная спокойная жизнь разрушилась, во мне родилась сила, заставлявшая меня жить, хотя бы ради ребенка. Помнится, как в голодное время я бессмысленно рассматривала свои книги на полках и мне не верилось, что история философии или историческая грамматика русского языка когда-то занимала меня. Теперь важно было только одно — решить вопрос, как прокормиться завтра. И то, что заставляло меня цепляться за жизнь, не имело ничего общего с логикой и разумом. То были импульсы, исходившие от природы, музыки, поэзии. И, кроме того, я обрела неожиданную помощь. Я не была религиозна, несмотря на христианское воспитание. Но теперь, когда прежний мир с его требованиями и целями погиб, в образовавшемся вакууме я все отчетливее чувствовала присутствие рядом Бога. Во всех опасностях было для меня девизом изречение апостола Павла [Рим. 14,8]: «А живем ли — для Господа живем, умираем ли — для Господа умираем. И потому, живем ли, или умираем, — *всегда* Господин». Это изречение избавляло меня от страха, наделяло ощущением причастности к некоему высшему порядку. Будто бы ангел, виденный в детстве в доме бабушки, сопровождал меня повсюду. Быть может, некоторые солдаты, повстречавшиеся на моем пути, разделяли со мной это успокаивающее чувство и потому видели во мне не враждебную немку, а такого же человека, как и они.

До сих пор, друзья мои, я описывала свои собственные переживания в дни битвы за Берлин и в первое послевоенное время. Многие счастливые случайности уберегли меня от несчастий. Однако было немало немцев, которым пришлось

пережить жуткие, с трудом поддающиеся описанию испытания. Маршал Жуков пишет в своих мемуарах: «Компартия и Советское правительство, исходя из своего интернационального долга и гуманистических убеждений, приняли все меры, чтобы разъяснить советским солдатам, кто является истинным виновником войны и совершенных злодеяний. Не допускалось и мысли, чтобы карать трудовой немецкий народ за те злодеяния, которые фашисты творили на нашей земле».

Надо ли теперь объяснять, что эти слова не совсем соответствуют действительности? О трагедиях, разыгрывавшихся при вступлении Красной Армии в Восточную Пруссию, о страданиях гражданского населения существует множество свидетельств и документов, собранных немецкими историками. Подтверждают эти ужасные факты и сами русские. Лишенный в 1981 году советского гражданства Лев Копелев так описывает в своей книге «Хранить вечно» причины своего десятилетнего тюремного заключения. Писатель, будучи старшим инструктором при Политуправлении 2-го Белорусского фронта по работе среди войск противника и вражеского населения, вместо того, чтобы пропагандировать «святую ненависть» к врагу, проявил «буржуазный» гуманизм, стараясь спасти беспомощных немцев. За этот проступок он и был приговорен. Солженицын в поэме «Восточно-пруссские ночи» описал, как охваченные жаждой мщения и потерявшие над собой контроль люди («лава безумных людей») неистовствовали в Восточной Пруссии: **НЕ ЗАБУДЕМ! НЕ ПРОСТИМ! КРОВЬ ЗА КРОВЬ!** — и зуб за зуб.

Однако я не хотела полагаться только на прочитанное. Мне нужно было самой послушать немцев, побывавших в советских лагерях. Дора фон Фельс из Восточной Пруссии поведала мне о том, как ее в возрасте 22 лет депортировали из района Остероде на лагерные работы в Коми АССР. По ее словам, арестовывались и увозились все женщины от 14 до 60 лет, попавшие в руки к русским. Ее тоже не пощадили, несмотря на то, что перед тем она уже шесть месяцев находилась под арестом у нацистов, как неблагонадежная: на ее семью донесли за пораженческие высказывания и за связь со сторонниками

графа Штауффенберга, казненного после неудачного покушения на Гитлера 20 июля 1941 года. Когда русские открыли тюрьмы с узниками нацизма, они не поверили Доре фон Фельс и, обратив внимание на ее аристократическую фамилию, решили, что она тайная приверженка нацистов, вознамерившаяся спрятаться в тюрьме от возмездия, и обращались с ней соответствующим образом.

Условия в советских лагерях теперь хорошо известны. Об этом не раз свидетельствовали и бывшие заключенные из России. Одно из таких свидетельств — написанная в 1967 году книга Евгении Гинзбург «Крутой маршрут». Опубликовать ее тогда в советской печати было невозможно, и она распространялась через «Самиздат». К этой же серии книг относятся и «Погружение во тьму» Олега Волкова, «Непридуманное» Льва Разгона, «Статья 58» Варлама Шаламова.

Но вот что вспоминает Дора фон Фельс об одной ночи в лагере: «Перед каждой ночной сменой нас охватывал ужас. Хватит ли нам сил на этот раз? Сумеем ли мы непрерывно откапывать из снега стволы деревьев, вытаскивать и катить их к цепи, которой их связывали? В самом конце моста горела лампа. Там находился новый штабель бревен. Мне он был хорошо знаком — я занималась его укладкой летом, во время сплава. Так продолжается уже три года: скатывать в штабеля, перекатывать из штабелей. Сколько человеческой силы потрачено на каждое из этих бревен, начиная с лесоповала и кончая переработкой! Уставшие, голодные, отчаявшиеся люди должны отдавать свои силы этим бесконечным бревнам. Люди, у которых сил уже не осталось, давно переставшие надеяться, вечно униженные и отчаявшиеся».

Из 1800 депортированных вместе с Дорой женщин вернулись назад лишь 800. Немецкие офицеры, доставленные в лагерь позже, чем женщины, и тоже присужденные к принудительным работам, должны были остаться и после того, как отпустили женщин. А на освободившиеся в бараках места прибывали теперь русские заключенные. Уезжавшие из лагеря женщины видели этих несчастных. То были люди, побывавшие в

Германии в плену или на принудительных работах. Вероятно, нашу Вало постигла та же участь.

Совершенно потрясающую историю рассказала мне другая жительница Восточной Пруссии, эмигрировавшая после освобождения из лагеря в Америку. Ильзе Мозер жила с семьей в Кенигсберге (ныне Калининград). В октябре 1944 года, когда ей было 9 лет, родители отправили девочку на поправку к бабушке с дедушкой в деревню недалеко от литовской границы. Старики вместе с Ильзе мирно работали в поле, когда появились русские истребители. Дедушка догадался столкнуть ребенка в заросший ежевикой овраг, благодаря чему девочка и осталась жива. Стариков же уложило выстрелами насмерть. Умирая, бабушка протянула руку в сторону воронки от снаряда. Ильзе поняла этот жест как желание бабушки быть там похороненной. Немало дней потребовалось девятилетней девочке для того, чтобы перетащить стариков в воронку и закопать. Двор их был полностью разрушен, и с наступлением холодов Ильзе в надежде попасть домой в Кенигсберг отправилась в путь. По дороге она встретила несколько групп немецких беженцев, но озабоченные собственным спасением, они не взяли с собой беспомощного ребенка. Наконец — должно быть, она находилась уже на литовской границе — повстречался ей старый литовец-пастух. Прибежищем ему служила дымовая труба разрушенной фабрики. Он-то и приютил ребенка. Несколько дней оставалась Ильзе у него. Затем ее выследили русские, собиравшие беспризорников в грузовик. Старик уверял, что девочка приходится ему внучкой. Но она не умела говорить по-литовски. В ней распознали немку и забрали. В лесу детей высадили из грузовика и заставили встать на колени. Потом последовали выстрелы... Мальчик возле нее упал замертво. Снова выстрелы... Когда Ильзе открыла глаза, русские солдаты тоже были мертвы. То стреляли литовские партизаны, прятавшиеся в лесу. Они пожалели детей, но объяснили, что больше ничем не могут помочь, и ребята должны сами разыскивать своих родственников. После долгих блужданий дети снова были схвачены русскими и привезены на сборный пункт, куда уже

было согнано много мирных немцев. Это был временный лагерь — кусок заснеженного поля, огражденный колючей проволокой. Трудно было выжить, питаясь жалким куском хлеба, выдаваемым на целый день. Затем последовала долгая, наполненная страданиями дорога в стационарный лагерь, расположенный примерно в 500 км севернее Москвы. В этом лагере было собрано в основном мирное немецкое население самых разных возрастов, включая маленьких детей. Чудом разыскала среди заключенных Ильзе свою мать и младших братьев и сестру. Жестокость, свидетельницей которой она оказалась, трудно себе представить. Тех, кто обессилел и не мог больше работать, бросали под поезда, проезжавшие рядом с лагерем, чтобы от них избавиться. А одного девятилетнего мальчика, окончательно ослабевшего от голода, подвесили за нос. Несовершеннолетних девочек заставляли в бане для охранников делать всякие непристойности. И самое отвратительное: над детьми производились опыты в водолазном колоколе под давлением. Ребенка подвешивали на цепь под сводом, затем в колокол запускалась вода. Ильзе помнит только, что вода поднималась ей до подбородка. После этого она всякий раз теряла сознание и не знает, каким образом снова оказывалась снаружи. Эти пытки предпринимались в течение нескольких месяцев. Затем колокол куда-то исчез. Лишь благодаря одному русскому заключенному, православному священнику, девочка осталась после этих экспериментов в живых. Он делал ей массаж, пока она снова не приходила в сознание. Он же помогал и при несчастных случаях; смазывал волчьи и крысиные укусы дегтем, чтобы раны не гноились. Ильзе выжила, но физические и психические последствия пребывания в лагере остались надолго. Младший ее брат умер от истощения, маленькая сестра была расстреляна — она отказалась перетаскивать трупы в общую могилу после того, как ее рука примерзла к мертвому телу. По словам Ильзе я была первой, кому она поведала о пережитом в детские годы. Говорила она спокойно, почти бесстрастно, без жалобных интонаций, хотя происшедшее с ней мне было трудно даже себе представить. По ее мнению, нельзя обвинять в

войне и ее последствиях только одну из сторон, кого-то рассматривать как жертву, а кого-то — как преступника. С оттенком мрачного юмора рассказывала она еще о двух происшествиях, в которые с трудом можно поверить: «Однажды один из охранников крикнул: "Девушка, поди сюда!" — посадил меня в машину и поехал со мной к вокзалу, куда только что прибыли вагоны с хлебом. Он показал мне, каким образом можно красть хлеб из вагона. Если воровство сойдет мне с рук, — объяснил он — я тоже получу немного хлеба. И хитрый парень сдержал свое слово. Вскоре я превратилась в настоящую воровку, что помогало нам обоим, — ведь команды охранников жили тоже очень бедно. Нередко в вагонах оказывались ящики с водкой, что особенно радовало моего охранника. В этом случае я получала в качестве заработка другие продукты. Это немного облегчало наше голодное существование. Моя мать подкармливала еще нескольких сирот, ведь без защиты взрослых дети погибали».

А вот другая необычная история: «Вы обратили внимание, что у меня много кошек? Все они — беспризорные, подобранные мною на улице из чувства благодарности к этим животным: одна такая кошка помогла мне выжить в лагере. Однажды я увидела, как ко мне сквозь ограждение из колючей проволоки пробирается кошка с рыбьей головой во рту. Добравшись до меня, она положила свою добычу у моих ног и заглянула мне в глаза. Поначалу я не поняла, чего она хочет. Наконец до меня дошло: нужно было разбить рыбью голову, и тогда она, изголодавшаяся, как и я, сможет съесть глаза, ну а мне уж — все остальное. Это тоже было хоть какое-то дополнительное питание, и прежде всего белок. Кошка навещала меня довольно долго. Затем пропала, вероятно, где-то издохла».

В конце 1949 года Ильзе с матерью и одним выжившим братом была освобождена и после кратковременного пребывания в резервации для немецких беженцев в Америке начала новую жизнь. На мой вопрос, что она думает о русских охранниках, она ответила: «Когда вспоминаю о них, передо мной встают лица, почти все исполненные апатии и ничего не выражающие. Солдаты также страдали от недостатка во всем,

были обречены на примитивную, монотонную жизнь. Православного священника, его человечность и доброту я не забуду никогда. Он еще оставался в лагере, когда нас освобождали. Как мне хотелось, чтобы он тоже хоть когда-нибудь оказался на свободе».

Правильно ли я поступила, друзья мои, пробуждая воспоминания об ужасном прошлом, от которого нас отделяют теперь больше полвека? Мне кажется, что как ни тяжело возвращаться к эпохе подавляющих человека авторитарных режимов в вашей и моей странах, все же это необходимо: иначе не поддаются излечению раны, нанесенные тогда. У вас и у нас — страдающие, измученные, униженные люди; у вас и у нас — жестокость, не поддающаяся описанию, но, с другой стороны, и примеры человечности, отзывчивости и добра. Многие немецкие заключенные с благодарностью вспоминают русских врачей, оказывавших им помощь, насколько это было возможно, и мирное население, старавшееся облегчить бедствия арестантов, делясь с ними последним, будь то кусок хлеба или обрывок обмотки. Дора фон Фельс рассказывала, как один из следователей, заинтересовавшийся ее аристократическим происхождением, подарил ей резиновые сапоги: «Бери, пригодятся». Василий Гроссман в своем романе «За правое дело», вторая часть которого в свое время была запрещена советской цензурой, но без сокращений опубликована на Западе в 1975—1976 годах под заголовком «Жизнь и судьба», четко показал — параллельными сюжетными линиями — сходство жизней и судеб немцев и русских под гнетом авторитарных режимов Гитлера и Сталина.

За необузданное поведение красноармейцев в Восточной Пруссии ответственна в большинстве случаев была политическая пропаганда. В книге «Хранить вечно» Лев Копелев описывает реакцию одного армейского политработника на приказ, отданный маршалом Рокоссовским военно-полевым судам: карать расстрелом за разграбление, изнасилование и убийство мирных жителей. Этот офицер, отвечающий за поддержание боевого духа в военных подразделениях, высказался следующим образом: «Что нужно сделать, чтобы

солдат сохранил желание бороться? Первое: он должен ненавидеть врага, как чуму, иметь желание уничтожить его с корнем. А чтобы он не терял это желание бороться, чтобы знал, для чего выпрыгивает из окопа навстречу огню и ползет по минным полям, он должен знать, во-вторых, что когда он придет в Германию, все будет принадлежать ему — барахло, бабы, все! Делай все, что хочешь! Бей так, чтобы дрожали их внуки и правнуки!». Так разжигалась жажда расправы — безумное опьянение, когда все дозволено, когда смерть размахивает своей косою направо и налево. Один преследуемый нацистами за свое еврейское происхождение житель Кенигсберга описывает ад, который он пережил при захвате города: «Кто бы ни умирал, раб ли, солдат ли, пленные или герои, смерть не разбиралась. За гибелью и разрушением таятся силы, которые живут собственной жизнью, подчиняются своим законам. Горе тому, кто их высвобождает». Схожие размышления нашла я в дневнике графа Лендорфа, немца, работавшего в Кенигсберге врачом до 1947 года: «Как вообще можно назвать все то, что мы здесь переживаем? Месть ли это или природная дикость? Откуда явились эти типы, вроде бы такие же подневольные люди, как и мы, но поведение которых не имеет ничего общего с их человеческим обликом?.. Оно не имеет ничего общего и с Россией, это люди без Бога, это — гримаса человечества. Меня все это повергает в тягостное чувство стыда, как будто это моя собственная вина».

Немецкий врач никого не обвиняет, но чувствует себя сопричастным, ответственным за все происходящее, призванным осознать пережитое, оценить его и воспринять ту психическую бездну, в которую он заглянул, как крайнюю форму общечеловеческого существования. Бывшие заключенные, и немецкие, и русские, тоже подтверждают, что чудовищные духовные потрясения можно было перенести только в том случае, когда удары судьбы не просто пассивно принимались, а рассматривались как испытания, посланные свыше. Князь Кристиан-Генрих Штольберг-Вернинероде, попавший в 1945 году в русский плен молодым офицером, называет одиннадцатилетний период своего пребывания в советском лагере годами учения.

В течение некоторого времени ему удавалось скрывать свое происхождение, но затем на него донес немецкий офицер, руководитель антифашистской организации лагеря. В результате он, как «опасный элемент», как «юнкер, капиталист и фашист», был приговорен к 25 годам принудительных работ «за поддержку международной буржуазии». Лишь в 1956 году, после визита Аденауэра в Москву, его отпустили в Германию. Его мемуары полны описаний физических и психических страданий, которые ему пришлось вынести. Ему помогла выжить русская девушка Лидия, студентка архитектурного института, руководительница подмосковной стройки, на которой он работал. Для него она олицетворяла те свойства, которые он научился ценить в русских людях. Она стала для него символом русской женщины. Эта девушка, сознательно подвергавшая себя опасности, которую таила в себе дружба с немецким заключенным, замышлявшая вместе с ним побег в Турцию, в 1947 году была арестована. Может быть, она еще жива и ей случится прочесть эти воспоминания заключенного... В конце книги князь Штольберг пишет: «Душа русских кажется непостижимой. В течение 11 лет я постепенно узнавал, что во множестве русских прячется достойный любви человек со свойствами, симпатичными мне: крепкий, веселый, всегда готовый помочь. Формально как охранники, как следователи они были частью системы. Но стоило им снять форму и стать "частными людьми", возникала симпатия. Во всяком случае, таковы мои впечатления». И та симпатия, которую этот немецкий военнопленный ощущал к русским даже во время войны, сегодня сделала возможным примирение двух столь различных стран. Меня глубоко потрясло то, что мои немецкие и русские друзья недавно вместе посетили Зееловские высоты, те самые, о которых маршал Жуков пишет как о «серьезной помехе» и для танков, и для артиллерии на пути к Берлину, как о стене, отгораживающей равнину, где должна была развернуться решающая битва за Берлин. Всего за несколько недель до окончания войны в бою за эти высоты полегло много русских и немцев. Столько их, может быть, уже тогда считали свое участие

в той войне роковым недоразумением. Теперь их, убитых тогда, вместе поминали русские и немцы другого поколения.

Глубокое потрясение и беспомощная растерянность объясняют мою заметку в дневнике, относящуюся к сентябрю 1946 года: «Между последней записью и сегодняшним днем вместились бесконечно много. Старый мир погибал. Гибли традиции, связи, вера в защитную силу родного очага. Мы лишились средств к существованию, нас унижала необходимость подчиняться оккупационным властям, в доме моего детства разместились русские, родственники и друзья пропали без вести. Так выглядит сегодня наша жизнь. Но зато теперь я снова могу смотреть на звезды. Еще недавно это было невозможно: с неба падали бомбы и грозила смерть».

56

Друзья мои, когда я записала эти строки в своем дневнике, я ничего не знала о том, что, как мне позже рассказали свидетели, происходило тогда в немецких восточных областях, — не было ни радио, ни телефона, ни газет, не работала почта. Мой мир ограничивался берлинскими районами, до которых можно было добраться пешком. Один из моих первых визитов нанесла я своему учителю Максу Фасмеру, жившему в ближайших окрестностях города. Теперь до этого места можно доехать на электричке за несколько минут. Тогда же мне потребовалось немало времени и усилий, чтобы перебраться через канал по остаткам взорванного моста, перила и балки которого по большей части свисали в воду. Фасмера я нашла невредимым. Несмотря на скудное питание, рабочий энтузиазм его был не сломлен. Вкратце он рассказал мне о своих приключениях, о том, что красноармейцы признали в нем «ученого господина» и относились к нему с уважением, увидев огромное количество книг в его квартире. Неожиданно он снял с полки «Слово о полку Игореве» и произнес, как будто ничего не изменилось со времени нашей последней встречи: «Так где же мы остановились?». Дело в том, что незадолго до конца войны Фасмер пригласил своих прежних учеников принять участие в сугубо научном, углубленном языковом толковании «Слова о полку Игореве». И теперь он требовал от меня, чтобы я разыскала оставшихся в Берлине коллег и мы могли бы

продолжить чтения. Тяжелые жизненные условия почти не волновали его — гораздо важнее было сохранить темп дальнейшей научной работы. При этой же встрече Фасмер попросил меня связать его с физиком Максом Фольмером, который жил недалеко от меня: в первые же недели по окончании войны академики самых разных факультетов, избежавшие уз национал-социалистской партии, стремились к восстановлению между собой контактов по «устной цепочке» для того, чтобы обсудить пути возрождения академических институтов, и прежде всего университетов. В 1933 году Фольмер принимал участие в научном конгрессе в Москве и был поражен восприимчивостью русских студентов, живостью их ума и желанием учиться. Кроме того, у него тогда же завязались дружеские отношения с русскими коллегами. В 1945-м он думал, что развитие науки в Германии еще долго будет невозможно, и поэтому принял предложение переселиться на некоторое время в Советский Союз.

В Советском Союзе Фольмер принадлежал поначалу к группе немецких ученых под руководством Густава Герца, имевшей центр в Грузии. Позже он работал в одном из московских институтов. Однако, при всех благоприятных условиях существования, его надежды на свободную научную деятельность не сбылись. После одного неприятного инцидента его востребовал к себе Лаврентий Берия и дал понять, что немецкий ученый обязан подчиняться служебным инструкциям власти победителей. Макс Фольмер вернулся в Берлин в 1955 году, двумя годами позже, чем это значилось в договоре, как, впрочем, и другие немецкие ученые, и был удостоен чести занять президентский пост Академии наук Германии.

Перед переселением в Советский Союз в конце 1945 года он и его жена хотели освоить русский язык, и поэтому до их отъезда я часто бывала в их доме, который стал для меня прибежищем в опасных ситуациях, поскольку на двери висела табличка на русском языке: «Здесь живет крупный ученый. Просьба не беспокоить!». При переговорах Фольмера с русскими офицерами из высшего командного состава, на которых я тоже присутствовала, мне стало впервые совершенно

ясно: мы, немцы, не сможем больше самостоятельно определять свою судьбу, она будет в полной зависимости от воли победителей. Даже понимая, что необходимые вежливые формы внешне будут сохранены, и вопреки своей давней мечте познакомиться с Россией я отклонила предложение Фольмера поехать с ним в качестве переводчицы. Предчувствие того, что это не будет для меня знакомством свободной немки со свободными русскими, остановило меня.

После окончания войны простым русским солдатам запретили посещать немецкие дома. Теперь ко мне заходили только офицеры, желающие изучить немецкий язык. Хорошо помню взволновавшую меня тогда картину: перед дверью моего дома стояли четыре русских генерала в папахах. Поздоровавшись с исключительной вежливостью — один из них мне даже руку поцеловал, — офицеры попросили меня учить их детей немецкому языку. Так произошло знакомство с высокопоставленными военными, жившими в закрытой зоне, куда я до того момента не имела доступа. Меня охватило странное чувство, когда я проходила мимо вилл, в которых еще недавно жили мои друзья и знакомые. Ворота стояли открытые, сады были опустошены. Я знала, что в одном из этих садов перед спешной эвакуацией хозяева закопали драгоценное серебро и мейсенский фарфор. Знала даже точно — где. Гарнизонные солдаты неоднократно перекапывали землю в поисках захороненного добра, однако — приятная неожиданность! — над кладом земля оказалась нетронутой. Вплоть до воссоединения Германии оставалась эта зона запретной для граждан ФРГ. Может быть, серебро и фарфор до сих пор лежат там... Хотя прежних владельцев уже нет в живых. Кто знает, кому посчастливится найти эти драгоценности?

Во время визита генералы увидели мой рояль и попросили помимо немецкого давать детям и уроки игры на фортепьяно. Но я порекомендовала им одну пианистку из Потсдама, устроительницу детских концертов. Так что вскоре среди участников выступлений, к большой гордости родителей, можно было видеть маленьких Игорька и Светлану. Благодаря моему университетскому образованию, старшие офицеры были всегда

полны внимания ко мне, чрезвычайно вежливы и не давали никогда почувствовать, что я принадлежу к нации побежденных. Иногда я сопровождала в качестве переводчицы офицерских жен во время их походов по магазинам. Иногда меня возили в роскошном лимузине русских по разрушенному Берлину на Курфюрстендамм, одну из центральных магистралей города, которая уже начала постепенно оживать в своей торговой суете. То был редкостный контраст: снаружи руины, а в магазинах — вечерние туалеты, меха, украшения на любой вкус. Русские дамы покупали все, что только можно было тогда купить. Однажды я спросила, где они собираются носить эти элегантные платья. «Среди своих», — ответили они без разъяснений, что именно подразумевается под этим «среди своих».

Связи с высоким командованием хорошо защищали меня от посягательств простых солдат. Один раз в нашу квартиру проникли три одетые в военную форму девушки. Бросив узел с вещами в единственную отапливаемую комнату, они грубо прорычали: «Вон!». Патрульный, которого я призвала на помощь, очевидно, не имел желаний ссориться с соотечественниками. И, хотя ему было прекрасно известно, что конфискация жилых помещений в личном порядке запрещена, он предпочел, как я уже неоднократно наблюдала у русских, обходной путь. Хитро посмеиваясь, он сказал тихо, чтобы девушки не могли услышать: «Раз у тебя такие большие связи, без помощи не останешься». Так и вышло. Один из родителей моих учеников, высокопоставленный военный, позаботился, чтобы наш дом быстро освободили.

Я ничего не слышала о своем муже. В ноябре 1945 года он неожиданно вернулся из английского плена. В момент его появления произошла незабываемая сцена. В нашей гостиной часто сидели русские военные. В тот день это были простые солдаты, шоферы моих учеников. Вдруг распахнулась дверь, и вошел мой муж в обрезанной солдатской шинели. При виде советских солдат он в ужасе отскочил назад; как бывшего военнопленного, его уже не раз задерживал по дороге домой военный патруль. И теперь он подумал: арест неизбежен.

И что же? Солдаты, тронутые его возвращением, радостно подошли к нему. Один даже обнял меня со слезами на глазах: «Муж пришел!». Наверняка он рисовал в своем воображении картину собственного возвращения на родину. Потом мы все вместе отпраздновали этот счастливый день. Мой муж был специалистом по английскому языку и литературе, и теперь в наш дом стали приходиться советские офицеры, чтобы брать уроки английского.

Мой маленький сын, общаясь с нашими многочисленными посетителями, начал уже повторять обрывки русских фраз. Но, видимо, по общей атмосфере, царившей вне дома, он чувствовал, что между русскими и немцами существует какая-то напряженность. Однажды я ехала с ним в электричке. Напротив сидели русские офицеры. Томас рассматривал их задумчиво и вдруг громко спросил: «Мамочка, а русские тоже хорошие люди?». Я почувствовала, как замерли сидевшие вокруг меня немцы. На мне сосредоточились ледяные взгляды — немного тогда было людей, которые воспринимали советских военных без предубеждения. Я не знала, что сказать. К счастью, пришел все-таки на ум единственно возможный для меня ответ: «Русские — точно такие же люди, как мы». Тогда Томас воскликнул с видимым облегчением: «Значит, я могу рассказать дядям, что принес мне Санта Клаус!». И он побежал через проход и стал что-то втолковывать офицерам. Не знаю, насколько хорошо они понимали немецкий. Они улыбались, видимо от растерянности, а может быть, все-таки догадывались, что ребенок в своей наивной непосредственности хотел возвести мостик между немцами и теми, «другими» людьми, которых, как он чувствовал, большинство немцев сторонилось.

В конце августа 1945 года произошло одно решающее событие, которое помогло мне и моей семье пережить грядущую тяжелую зиму. Я стояла на железнодорожной платформе в окрестностях Берлина в ожидании поезда. На этот же поезд собиралась сесть группа русских офицеров. Вдруг объявили о задержке. По беспомощным выражениям лиц я догадалась, что военные не поняли объявления. Тогда я подошла к ним и объяснила, о чем шла речь. Офицеры очень обрадовались и спросили, где

я обучалась русскому языку. Когда я рассказала о моей специальности и о деятельности в качестве переводчицы у физика Макса Фольмера, они сразу предложили мне поработать у них. Эта работа касалась главным образом переводов технических текстов, поскольку офицеры не были профессиональными военными. Это были инженеры, специализирующиеся на сельскохозяйственной технике, главным образом тракторах, и находящиеся в подчинении Наркомата среднего машиностроения. В один миг жизнь моя изменилась... По договору с русскими я получила возможность нанять молодую женщину для присмотра за ребенком в рабочее время. Моя новая работа — перевод технических текстов — давалась мне сначала с трудом: я ни разу не имела дела с техническими немецкими терминами. Помимо этого, на меня была возложена организация встреч с директорами предприятий — производителей сельскохозяйственной техники. И начались бесчисленные поездки, в которых я сопровождала офицеров. Мои шефы обходились со мной всегда вежливо и предупредительно. Я не слышала ни единого слова о нас как о побежденных немцах. К моим осечкам в русском они тоже относились терпимо. О своей жизни офицеры говорили очень мало, о политике — никогда. Единственное, что я от них слышала, это то, что я чувствовала бы себя в Советском Союзе не лучшим образом из-за большой разницы в условиях существования. С одним из них, майором, выросшим в детском доме, возникали у нас иногда дискуссии на исторические темы. Во время этих споров выяснилась огромная разница в основах нашего мировоззрения, которая практически не давала нам прийти к какому бы то ни было согласию: для майора история начиналась со времен Великой французской революции. Поэтому я редко могла в разговорах с ним сослаться на духовные ценности античности и средних веков, на христианские понятия. Однако различие в наших точках зрения не мешало человеческим, почти дружеским взаимоотношениям, сложившимся между мною и тремя моими начальниками. Только в одном мы не могли найти общего языка: как и мои русские друзья студенческих лет, офицеры не признавали четкого

временного распорядка. Когда начинался мой рабочий день, их часто вообще еще не было в бюро. При этом они считали, что я обязана задерживаться на работе вечерами. Но для меня это было невозможно — из-за ребенка я была связана жестким графиком. Частенько намеченные деловые встречи не могли состояться, так как мои шефы являлись с большим опозданием и потом сами же досадовали, что не заставляли приглашенного на месте. Но когда я после подобных неудач расписала мероприятия следующего дня точно по времени, они только рассмеялись и сказали: «Вы настоящий фриц! Бросьте! Пусть все идет само собой!». И потом — их любимая, незабываемая для меня фраза: «Решим по ходу дела».

62

Очень удивляли меня четко разграниченные привилегии — разнообразные пайки, «закрытые» магазины, которые полагались военнослужащим в зависимости от их звания. По моим наблюдениям, люди в Советском Союзе были разделены на классы в большей степени, чем у нас. Мои шефы — самый старший среди них имел звание полковника — жили очень скромно. Спали они в смежных с бюро комнатах. Ели часто лишь сухари, которые я тоже могла брать в неограниченном количестве. Только водка была у них всегда, и пили они порядочно. Иногда это приводило их к таким возбужденным спорам, что я не могла нормально работать. В такие моменты я удалялась куда-нибудь, выжидая, когда «непогода» утихнет, тем более что во время споров они то и дело хватались за пистолеты. Вообще мои начальники избегали бесед на личные темы. Но однажды по отдельным намекам я узнала о драматическом событии, участником которого был капитан, заходивший иногда в наше бюро. Этот капитан казался мне очень сдержанным и замкнутым. Я знала, что у него в Москве остались жена и дети. А теперь выяснилось, что здесь, в Германии, он страстно полюбил немку. Несмотря на неоднократные предостережения, он не хотел с ней порвать. В конце концов, это привело к аресту обоих, ведь тогда тесные отношения или браки между советскими гражданами и немцами были запрещены. Мои шефы сообщили мне об аресте капитана без каких-либо комментариев, но мы все знали, какая судьба ожидает его и его возлюбленную.

Когда я задерживалась на работе допоздна, меня в целях безопасности сопровождал до дому один из офицеров, хотя на это требовалось около часа ходьбы пешком. Часто случалось, что мои провожатые, скучавшие по домашнему уюту, задерживались у меня. Так они познакомились с моим мужем. (Кстати, он, будучи в английском плену, присутствовал на допросе адмирала Деница, назначенного Гитлером своим преемником.) Теперь муж работал преподавателем английского в Берлинском институте иностранных языков. Офицеры относились к нему так же дружелюбно, как и ко мне.

В конце февраля произошло неожиданное событие, в один миг положившее конец моей работе в бюро от Наркомата среднего машиностроения. Мой непосредственный начальник неожиданно предупредил меня, чтобы я ни в коем случае не вступала с ним в разговор. А спустя некоторое время шеф сказал, что, как ему ни жаль со мной расставаться, мне лучше больше в бюро не появляться — это небезопасно. Он объяснил, что, поскольку я не коммунистка и мой муж связан с Западом, меня могут заподозрить в шпионаже. Может случиться, что меня против воли отправят в Карлхорст, тогдашний центр советской военной администрации. И мою дальнейшую судьбу предсказать будет уже невозможно... Лучше даже мне на время куда-нибудь переехать. Я последовала его совету, и, как оказалось, вовремя: после моего исчезновения из бюро обо мне неоднократно спрашивали приходившие к нам домой неизвестные люди в советской военной форме.

Противоречия, возникавшие все время между представителями Советского Союза и членами западной коалиции, вели ко все большему ухудшению отношений. В марте 1948 года, как только маршал Соколовский покинул Коалиционный совет, тот вообще утратил работоспособность. В конце июня началась блокада подъездных путей к Берлину, угрожавшая голодом западной части города. Опасность отступила, когда союзники организовали снабжение западных берлинцев всем необходимым по воздуху. Этот воздушный мост функционировал 11 месяцев, вплоть до отмены блокады. Несмотря на это, западные берлинцы чувствовали все отчетливее, что их свобода находится

под угрозой. Случаи насильственного похищения людей из западной части города вызывали негодование и страх. Транспортное сообщение между востоком и западом становилось все хуже и, наконец, оказалось совсем прерванным. Беженцы, ежедневно перебиравшиеся в западную часть Берлина (наш дом был все время переполнен друзьями и родственниками из советской зоны), были для нас живым примером усиливающегося политического давления в социалистической части Германии. Введение в 1952 году вдоль границы советской зоны пятикилометровой запретной полосы и возведение в 1961 году стены, делящей Берлин на две части, стали очевидным и окончательным доказательством того, что Германия поделена на два политически противоположно ориентированных государства. Мы, западные берлинцы, оказавшиеся в оцеплении, представляли себе тогда нашу часть города маленьким островом, находящимся в постоянной опасности. У всех на устах была тогда песенка, исполнявшаяся в одном из западно-берлинских кабаре:

*Островитянин не теряет покоя,
Островитянин не любит суеты,
Островитянин сохраняет надежду на то,
Что его остров снова станет материком.*

Литературные занятия

Во время «холодной войны» личные контакты с русскими из Советского Союза стали невозможны. Те люди, которые оказывали мне доверие, предоставляли помощь и со своей стороны учились уважать нормы западной жизни, оказались отторженными от нас берлинской стеной и запретной зоной. С этих пор мы, западные берлинцы, ощущая близость безликой власти Советского государства, отождествляли ее лишь с несвободой, подавлением личности, бесчеловечностью.

Теперь единственной возможностью сохранить связь с Россией была для меня русская литература. По счастливому стечению обстоятельств я получила заказ от радиокompании «Sender Freies Berlin» написать эссе о Маяковском для ночной литературной программы. Согласиться на это предложение было с моей стороны верхом легкомыслия, поскольку за время своих занятий у профессора Фасмера я смогла познакомиться с русской литературой весьма поверхностно. Мои познания в классической русской литературе были ограничены, что же до произведений, созданных после первой мировой войны, — их я и вовсе не знала. Однако я восприняла это предложение как испытание своих возможностей и принялась за работу. Мне стоило огромного труда почувствовать язык Маяковского. Но энтузиазм поэта, динамика его стихов, характерное их звучание, меняющийся ритм строф да и его личная судьба увлекли меня настолько, что я с задачей справилась, и справилась очень удачно. Последовали заказы от других программ. Так я постепенно стала знакомиться с творчеством русских писателей и поэтов 1920-х—1930-х годов. Моим главным желанием было постараться понять их творчество в тесной связи с их биографиями и эпохой, когда они творили. У нас же тогда

решающим критерием оценки были политические взгляды художника.

Я с детства увлекалась немецкой лирикой, поэтому воспринять Блока мне было гораздо легче, чем Маяковского. Романтические образы, рожденные его воображением, были мне хорошо знакомы по творчеству немецких символистов. Мелодичность его языка воздействовала на меня, тогда как отдельные обороты речи оставались мне непонятными. Глубоко потрясло меня эссе Блока «Народ и интеллигенция», в котором он выразил опасение, что «тройка» революции, «возрастающий гул» бега которой он ощущал, летит прямо на него и несет ему верную гибель.

66

При поисках новых тем для радиопрограмм, которые могли бы пробудить интерес немецкой публики к современной русской литературе, — во время «холодной войны» доступ к материалам был ограничен — я обнаружила взволновавший меня документ: то был сборник эссе «Лица» Евгения Замятина из архивов библиотеки Западно-Берлинского института Восточной Европы. Историей 1920-х—1930-х годов я занималась уже довольно долго, но только теперь я осознала на примере судьбы Замятина, как лучшая часть русской интеллигенции того времени боролась за свободу личности и творчества против возрастающего диктата партии. Захватывающий язык Замятина восхищал меня. Я стала собирать все, что только могла о нем найти. Листая подшивки «Литературной газеты», я видела, как ему и его единомышленникам постепенно затыкали рот. Поражалась его мужественному письму к Сталину. В том письме, написанном в июне 1931 года, уже изгнанный из Союза писателей, получивший запрещение публиковаться, Замятин изложил причины, толкавшие его к выезду за границу, и просил разрешения пожить на Западе в качестве советского гражданина: он хотел непременно вернуться в Россию, как только «станет возможно служить в литературе большим идеям без прислуживания маленьким людям».

Замятинские мысли восхищали меня. Я искала возможности познакомиться с другими его произведениями. В Мюнхенской библиотеке разыскала я четырехтомный сборник пьес и рассказов

издательства «Федерация» 1929 года. Сатирические «Большим детям сказки» и «Нечестивые рассказы» нашла в Британском музее. Из Америки выписала антиутопию «Мы», о которой слышала еще моя студенческая подруга Елизавета фон Кнюрринг. В замятинском описании жизни в государстве насилия легко можно увидеть параллели с романами «Этот прекрасный, прекрасный новый мир» Хаксли и «1984» Оруэлла. Оба эти произведения хорошо известны любому образованному человеку. А замятинский роман, появившийся в 1924 году в английском переводе в Нью-Йорке, — восемью годами раньше, чем антиутопия Хаксли, — оставался в неизвестности. Оруэлл даже предполагал, что Хаксли взял замятинское произведение за прототип, хотя тот и отрицал такое предположение. Несмотря на некоторые литературные недостатки, в романе «Мы» меня больше всего покорило то, что, положив в основу произведения не фантазии и догадки, а узанное и пережитое в действительности, Замятин все-таки сохранил веру в духовную силу человека: мятежники Хаксли и Оруэлла сломлены политическим гнетом — героиня Замятина остается стойкой даже под пытками. Феномен Замятина настолько захватил меня, что я решила: его должна узнать Германия. Так я начала переводить его рассказы и эссе. Они были опубликованы в 1967 и 1976 годах и в переработанной форме в двух томах в 1989 и 1990 годах. Из переводов выросла монография, названная мной «Евгений Замятин, еретик во имя человека». Она вышла в свет в 1976 году. Оглядываясь теперь назад, я думаю, что сильнейшее воздействие, оказанное на меня Замятым, объясняется моими личными переживаниями. Чередующиеся друг за другом перевороты, бесконечные встряски, которые он рассматривает как закон истории, я познала на собственном опыте, когда в конце войны привычный мне мир с его традициями погиб безвозвратно. Разделение Германии подавляло меня в большей степени, чем утрата материального благополучия, постигшая мою семью. Постоянным напоминанием о национальной трагедии была стена, перечеркнувшая город поперек. Любимые люди, родные места казались, как думал тогда каждый, потерянными навсегда. Молодое поколение

никогда не сможет понять такое потрясение, такой душевный надлом. А замياتинский роман отражал в себе подобные чувства. По мнению писателя, жизнь сколько-нибудь значимого человека всегда связана с трагедией — от него требуется готовность к переменам, «прыжок в неизвестность». Только через болезненную «трещину в душе» может он глубоко познать действительность, geologia. Так стал Замياتин моим постоянным спутником в те времена, когда личное общение с русскими было невозможно. Статья Замياتина о Блоке возбудила во мне интерес к речи поэта на 84-ю годовщину смерти Пушкина, которую он читал в 1921 году в Доме литераторов, за несколько месяцев до своей смерти. Эта речь произвела на меня странное впечатление. Словами: «И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл», — обозначил он и собственную судьбу.

Продолжая свое знакомство с творчеством Блока, я прочитала также монографию Мочульского. Сидя в круглом купольном читальном зале Британского музея, где находились русские справочники, и глядя на большие, обтянутые кожей столы, я невольно думала о том, как много русских здесь побывало. И, словно, в подтверждение этому, я прочла в книге Мочульского, что в 1875 году за одним из этих столов работал над своей диссертацией Владимир Соловьев. Солнечный свет заливал, наверно, высокий купол. Тогда и явилась ему Божественная София и позвала его в Египет, и он последовал этому зову... Теперь, спустя много лет, почти благоговейно поднимала я свой взор к этому куполу. Однако — да и могло ли быть иначе?! — для меня он оставался лишь куполом.

Русские в Канаде

Мой дальнейший жизненный путь привел меня в Канаду: в 1962 году я получила предложение прочитать цикл лекций по методике преподавания языков, в особенности немецкого и русского, на педагогическом факультете университета в Торонто. Успешный запуск советского космического спутника в октябре 1957 года произвел в Северной Америке фурор. Ощущение неуверенности, даже, пожалуй, отставания от Советского Союза, привело к усиленному изучению русского языка в американских и канадских школах. В связи с этим потребовалось заметно большее количество преподавателей русского языка. Таким образом мне было предоставлено огромное поле деятельности, так как на педагогическом факультете была только что организована кафедра русского языка. Чтобы приступить к новой деятельности, я должна была овладеть методикой обучения. И мне пришлось заняться различными теориями современной лингвистики. В Северной Америке в то время общепризнанной методикой преподавания был так называемый бихевиоризм, представителем которого был структуралист Леонард Блумфилд. Метод этот опирался на зазубривание фраз-моделей (sentence pattern), которые регулярно повторяются в речи под воздействием определенного стимула (stimulus). Странники «бихевиоризма» считают, что при постоянном повторении определенных фраз учащийся воспринимает языковой механизм, подобно малолетнему ребенку, бессознательно усваивающему законы родной речи. Таким образом, обучение по этой методике требует определенной готовности к заучиванию часто встречающихся разговорных клише, которые затем снова и снова повторяются, уже с небольшими отклонениями, и постепенно закрепляются в речевом аппарате. Как филолог школы Фасмера, я была не

согласна с этой методикой, основывающейся на чисто механическом заучивании. Ведь я на собственном опыте познала, как важно знать законы фонетики и грамматики языка, если стремишься говорить правильно. Но прежде всего методика эта не учитывает динамики языка, живущей в нем творческой «энергии», о которой говорили Гердер и Вильгельм фон Гумбольдты. Мои сомнения подтвердились более поздними исследованиями американских этнологов и антропологов, установивших, что степень выразительности языка влияет на образ мышления и мировоззрение говорящего. Во время преподавания мне снова и снова приходилось наблюдать, как сильно утомляла студентов зубрежка ограниченного набора клише, не давая никакого толчка к самостоятельному мышлению, никакого представления о богатстве русской культуры, которая может открыться даже сама по себе, лишь посредством овладения языком. По этой причине я старалась раздобыть как можно больше наглядных материалов о Советском Союзе, и в особенности о России, надеясь этим разбудить у студентов интерес к русской культуре и языку. Поскольку канадцы в общем-то не слишком осведомлены в области географии и истории других континентов, я попросила прислать мне из тогдашней ГДР географические карты, которые использовались в советских школах, подборки диапозитивов и фильмов о природе, городах, культурных центрах, о Московском Кремле, о Ясной Поляне, о Загорске, об иконах, переписывала пластинки с русскими песнями и литературными текстами. На этих аудиовизуальных материалах я строила небольшие диалоги, использовала их для пополнения словарного запаса, ну и, конечно же, для грамматических упражнений. Учебный кабинет был очень хорошо оснащен: в моем распоряжении находились и магнитофон, и видеоаппаратура, и мощный проектор, так что уроки проходили увлекательно и некоторые мои студенты до сих пор о них вспоминают. Множество учебных курсов, фильмов и диапозитивов я получила из Московского научно-методического центра русского языка при Университете, с которым у нас развилось взаимопольное сотрудничество. Структура присланных мне учебных курсов нравилась мне, а я

со своей стороны как могла, выражала свою признательность: за каждую кассету с записью я отсылала две пустые. Из этого института мне присылали также регулярно журнал «Русский язык за рубежом». Таким образом я знакомилась с работами советских лингвистов, которые тоже занимались проблемами «бихевиоризма», однако придерживались своей собственной, советской, традиции. Особенно заинтересовали меня работы А. А. Леонтьева, подчеркивающего необходимость анализа грамматических различий между изучаемым и родным языками. Не зная их, учащийся будет автоматически переносить законы своего языка на иностранный. Филолог рекомендует во избежание этого практиковаться в переводах с родного языка и обратно, чего не признают «бихевиористы». В моих стараниях стимулировать интересы студентов меня поддерживали аргументы русских языковедов Костомарова и Верецагина, считавших, что в программу изучения иностранного языка должно входить также и знакомство со страной этого языка. Иначе учащийся не в состоянии будет понять исторические традиции (обычай и нравы) чужого народа. Поэтому я сопоставляла такие исторические понятия как «вече», «помещик», «крепостное право», «разночинец» с речевыми оборотами «словно Мамай прошел», «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» или с пословицами вроде «Пришла беда — отвори ворота».

Поскольку преподаванию русского языка в 1960-е годы уделяли пристальное внимание, при Ассоциации преподавателей современного языка в Онтарио была образована секция русского языка, председателем которой я являлась многие годы. Самым заметным событием года было заседание, на котором собирались все преподаватели русского языка. Помимо преподавательских докладов демонстрировались также уроки по разработанным студентами методикам с использованием вспомогательных аудиовизуальных средств. На одно из таких заседаний я пригласила атташе по культуре из советского посольства в Оттаве. Он пришел, был очень любезен, полностью одобрил нашу работу, при этом превосходно говорил по-английски и показал во время дискуссий, что хорошо ориентируется во всех темах докладов (темы он попросил у меня заранее).

По окончании официальной части он принял приглашение посетить мой дом, где после значительной дозы спиртного почувствовал себя явно свободнее, спокойно выслушивал критические замечания о политике СССР и пообещал поддержать мою работу любыми возможными способами, стоит лишь мне ему позвонить. Однако, когда я действительно попробовала связаться с ним по телефону, мне это не удалось. Больше я никогда о нем не слышала.

В мою бытность председателем русской секции Ассоциации преподавателей возникла одна сложная проблема. В Онтарио, но еще больше на западе Канады, поселилось много эмигрантов из Украины, отличавшихся большей политической активностью, чем русские. Украинцы, опиравшиеся на сильное лобби в правительстве, прослышали об организации русской секции и потребовали от Управления образования в Онтарио, чтобы ввиду большого числа учащихся украинского происхождения, в школах преподавался украинский язык. Мне очень симпатичны украинцы и их история, однако я придерживалась мнения, что русский, как более распространенный язык, представляет для иностранцев и большую важность. Кроме того, русская литература является одной из величайших в мире. В результате споров, носивших воистину драматический характер, среди вторых иностранных языков, предлагаемых к изучению, наряду с немецким и испанским, остался русский (первым и обязательным в Онтарио принят французский). Так, благодаря активности институтов и Ассоциации преподавателей современного языка, в 1960-е годы в Онтарио резко увеличилось число изучавших русский язык.

Однако в следующем десятилетии финансовые средства, выделяемые на образование, были резко сокращены, университеты и школы стали испытывать трудности с бюджетом. Это привело к сокращению преподавательских мест и учебных часов. С преподаванием русского языка дела тоже пошли плохо. Когда я в 1975 году покинула Канаду, русский преподавался лишь в немногих школах.

Моя работа на педагогическом факультете привела к знакомству с русскими, живущими в Торонто и далеко за его пределами.

Родственница историка Шмурло, Елена Вадимовна, стала моей настоящей подругой. У нее я брала уроки русского, чтобы лучше подготовиться к своим университетским занятиям. Я часто встречалась с ней и ее друзьями, наслаждалась необыкновенным гостеприимством, сердечностью, с которой меня, немку, принимали. Лишь в Канаде я осознала, что европейцы имеют между собой больше общего, чем с американцами. За европейцем стоят гораздо более богатая история и традиции, тогда как американец, постоянно обгоняя старый мир, живет прежде всего будущим. К тому же опыт последней войны роковым образом связал русских и немцев... Когда мы с Еленой Вадимовной обсуждали впечатления военного времени, мы установили, что они были почти одинаковы, но только с противоположным знаком. Она еще в детские годы учила немецкий язык, и это обстоятельство обеспечивало ей не раз дружескую поддержку со стороны немецких солдат и офицеров, точно так, как это было у меня с русскими. Среди русской эмиграции были некоторые очень старые люди, перебравшиеся в Канаду еще после первой мировой войны. Большинство же покинуло Россию в конце второй мировой войны. Третью волну эмиграции я наблюдала сама. В конце 1960-х началась интенсивная иммиграция советских евреев. Большинство знакомых мне русских, причислявших себя к православию, на самом деле принадлежали к двум разным Церквям с различными патриархатами. Корни этого разделения уходят во времена гражданской войны. Патриарх Тихон, предвидевший свой арест, в 1920 году благословил уехавших в изгнание священнослужителей основывать для многих бежавших верующих русских самостоятельные православные церкви. Так на Западе возникли четыре разных русских православных направления с независимой от Московского патриархата юрисдикцией. Елена Вадимовна и ее друзья принадлежали к «Русской церкви в изгнании». Некоторые из них ездили молиться в расположенный недалеко от канадской границы, в Иорданвилле, монастырь Святой Троицы и желали быть там погребенными. Иногда я сопровождала Елену Вадимовну и ее подругу Люсю, когда они посещали

богослужения. Навсегда остался в моей памяти старенький батюшка Матвей, служивший обедню. Рассказывали, что он вырос в монастыре и был настолько отрешен от внешнего мира, что, кажется, даже не слышал имени Пушкина. После Октябрьской революции он находился в течение длительного времени под арестом, позже эмигрировал, трудился как перемещенное лицо на горных разработках в Бельгии. После тяжелой жизни в Европе он обосновался в Канаде и лишь здесь отдался целиком своей работе священнослужителя. Он отличался какой-то совершенно особенной силой. Его темно-голубые глаза светились добротой, его спокойная внутренняя убежденность наполняла души прихожан покоем. Среди верующих я иногда видела худого человека, скромно стоявшего позади всех, у колонны. Мне сказали, что это племянник последнего царя, сын Великой княгини Ольги от ее второго, неофициального, брака. Он работал на фабрике простым служащим. Однажды мне довелось побывать на совершенно особенном богослужении. Служба была в честь чудотворной иконы Божьей Матери, привезенной из России. Монахи странствуют с этой иконой по разбросанным по миру общинам «Русской церкви в изгнании». Когда ее внесли в торонтскую церковь, я наблюдала, с какой истовой верой, граничащей с суеверной истерией, женщины бросались на пол и бились головами о каменные плиты. Другие пытались поцеловать или хотя бы прикоснуться к рукам монаха, несшего икону. Незабываема для меня также и последняя Пасха, которую батюшка отслужил, несмотря на преклонный возраст. Здание «Русской церкви в изгнании» находится в середине торгового центра в Торонто. Для крестного хода моторизованная полиция перекрыла прилегающие улицы. И верующие со свечами в руках и песнопением: «Тебя, восставшего Христа-Спасителя, воспевают ангелы на небе», — двигались вокруг церкви, не обращая внимания на машины, скопившиеся перед заграждениями. Эта процессия между современными торговыми зданиями, с их скучными фасадами, представляла необыкновенно праздничную картину. Затем батюшка поднялся на ступени церкви, простер руки в благословении и произнес пасхальное приветствие

прихожанам: «Христос воскрес!», — и верующие ответили: «Воистину воскрес!». Меня предупредили, чтобы я оделась в летнее платье, даже если будет прохладно. За этот совет я была благодарна, поскольку, входя в церковь, все женщины снимали зимние пальто, чтобы подчеркнуть пасхальную праздничность начинавшегося богослужения светлыми тонами своей одежды. По окончании богослужения, ранним утром, все разъезжались домой, чтобы немного отдохнуть перед праздничным пасхальным столом, который по обыкновению был уставлен дорогими яствами и обильной выпивкой. Настроение у всех очень быстро поднималось — после долгого поста алкоголь действовал особенно сильно. Завязывались бурные дискуссии о новой театральной пьесе или о вышедших в свет книгах, пробуждались и ностальгические воспоминания о детстве в деревне, о пасхальных праздниках на родине, о любимых людях, оставшихся там, далеко.

Лето в Торонто почти всегда жаркое и душное. Поэтому в выходные дни горожане стремятся на север, чтобы отдохнуть на берегу одного из многочисленных озер и, по возможности, в своем собственном дачном домике. Люди, живущие в городе в обособленных районах, разграниченных по национальному признаку, и дачные домики также строят рядом со своими земляками. Дачи русских, называемые в Канаде коттеджами, были расположены примерно в двух часах езды на машине на север от Торонто. Когда я там гостила, мне казалось, что я в России. На песчаных дорожках поселка то и дело встречались простые женщины крестьянского вида, на пляже слышна была только русская речь. Помню, как я заплывла далеко от берега и с лодки мне дружески кричал какой-то незнакомец по-русски: «Вперед, вперед!». Вечером, когда жара спадала, с деревянной колоколенки доносился звон, звавший к вечерне. А потом все собирались посидеть у костра, в темноте блестили светлячки — то были незабываемые дни и ночи. Дети моих русских друзей, родившиеся уже в Канаде, по субботам посещали церковную школу, в которой учили по русской десятилетней образовательной системе. Здесь были в ходу учебники дореволюционных времен. Дети, обучавшиеся в этой школе,

говорили и писали на чистейшем русском языке. Когда Евтушенко приехал в Торонто на творческий вечер, он был просто поражен, что после выступления его засыпали цветами дети, так хорошо говорившие по-русски, как будто они выросли в России. И напротив, дети немецкого происхождения очень редко обучались родному языку, в лучшем случае слегка владели лишь разговорным, который чаще всего носил отпечаток какого-нибудь немецкого диалекта. Проблемы же русской молодежи, родившейся в Канаде, были похожи на те, которые я наблюдала у моей берлинской подруги Елизаветы фон Кнорринг. Молодые люди были воспитаны на далеких от действительности представлениях, идеализировали Россию и не знали темных сторон ее истории. Может быть, это вообще свойственно людям — видеть в прошлом «золотой век». Казалось, и богослужения они посещали не всегда по убеждению веры, но для того, чтобы через исполнение православных ритуалов утвердиться в своей причастности ко всему русскому и подчеркнуть свое отличие от остальных канадцев.

Из многих разговоров с русскими эмигрантами видно было их двойственное отношение к Советскому Союзу. Люди тосковали по своей старой родине, однако лишь немногие отваживались посетить ее в качестве туристов. Их рассказы после возвращения ясно показывали, насколько чуждой стала им эта страна. Они чувствовали себя во время поездки под постоянным наблюдением, обязаны были соблюдать указанные маршруты. Родственники и друзья из страха либо совершенно отказывались встречаться с ними, либо делали это, соблюдая строгие меры предосторожности. До откровенных разговоров дело не доходило никогда. Насколько болезненно-обостренно относились русские эмигранты к Советскому Союзу, я осознала на прощальном вечере перед отъездом в Германию. Лишь тогда одна русская студентка тихо сказала мне: «Мой отец был кулак, и его убили. Только не говорите здесь об этом никому». Ее прощальный подарок, картинка, составленная из засушенных цветов, до сих пор висит в моей комнате. Несмотря на все это, люди использовали любую возможность встретиться и поговорить с советскими русскими, приезжавшими в Торонто

по официальной линии. Однажды группу советских молодых атлетов пригласила к себе пожить канадская семья. В русской колонии воцарилось необычайное волнение. Каждый из спортсменов получил множество приглашений в гости и был засыпан подарками. Вспоминается сцена, тронувшая меня и показавшая всю драму жизни эмигрантов: две Наташи, обе едва достигшие тринадцати лет, стояли друг против друга — одна с канадским, другая с советским паспортом — и осторожно, словно на ощупь, пытались установить какой-то контакт, удивляясь, что обе говорят на одном языке, а следовательно, принадлежат к одному народу.

К началу 1970-х годов начал развиваться, хоть и очень медленно, культурный обмен между Канадой и Советским Союзом. Канадские школьники стали ездить в Советский Союз, либо направлялись туда на курсы изучения языка. По обмену посылались в Канаду советские учителя или школьная администрация: они должны были обучиться нашим приемам преподавания и ознакомиться с организацией учебного процесса. Однако большую часть времени эти люди проводили в магазинах. Они были заметно поражены уровнем западной жизни, всегда требовали показать им кварталы бедноты и никак не могли поверить, что в районах с маленькими виллами, в которые мы заезжали, живут простые рабочие.

В ноябре 1970 года один товарищ по работе, дружески ко мне расположенный, рассказал, что он получил приглашение пройти курс русского языка при Московском университете в рамках совместной русско-канадской программы по обмену преподавательскими кадрами. Так что теперь я знала — есть куда обратиться в Москве и я тоже смогу поехать туда. Я направила заявление на педагогический факультет университета Торонто и к большой своей радости получила стипендию для поездки в Россию с тем, чтобы три недели провести в Москве и Ленинграде. Мне все никак не верилось, что я на самом деле еду в Советский Союз, в страну, которая для меня так долго была закрыта всевозможными преградами, видимыми и невидимыми. Это было путешествие в неизвестное: хотя уже были куплены билеты на самолет туда и обратно, я так и не могла узнать, в каком отеле я останюсь. Муж беспокоился: «Если ты не вернешься, я даже не буду знать, где тебя разыскивать». Поэтому мы договорились, что я сразу по прибытии дам о себе знать в нашем посольстве. Там, правда, мне позже объяснили, что меня всегда смогли бы найти по номеру визы.

В один из последних дней декабря после краткого пребывания в Берлине я прилетела в московский аэропорт Шереметьево. Когда, приземляясь, машина пробилась через облака и я окинула взглядом огромные снежные поля, в голове у меня пронеслось: «Это Россия. Совсем другой мир, где привычные для тебя законы и правила не действуют. Ты должна спокойно относиться к тому, что здесь все будет по-другому». И это подтвердилось сразу после приземления. Я постаралась в людской толпе разыскать представителя «Интуриста», который должен был проводить меня в мой отель. Когда же мне это, наконец,

удалось и я заполнила необходимый опросный лист, он заинтересовался с откровенным недружелюбием: «Почему же Вы не пишете, что у Вас здесь имеются родственники?». Даже после долгих объяснений мне не удалось убедить его, что на Западе тоже можно неплохо изучить русский язык. Затем меня перепоручили другому сотруднику «Интуриста», который доставил меня в гостиницу «Бухарест» на Балчуге.

Там меня ожидал первый большой сюрприз. Когда я вошла в комнату, моему взору предстала удивительная картина: прямо перед собой я увидела собор Василия Блаженного, о котором так много читала. Теперь он наяву стоял передо мной, искрясь в морозной ночи своими куполами. Потом, во время моего пребывания в Москве, я много раз снова и снова обходила его, пытаюсь понять, почему, несмотря на чередование симметрии и асимметрии в формах отдельных столпообразных храмов, составляющих собор, он производит впечатление органичного целого; для меня этот храм символизировал мощный всплеск вырвавшихся наружу скрытых сил русского народа. До сегодняшнего дня это чудесное творение не перестает меня восхищать.

Первоначальное мое намерение быть готовой ко всяким неожиданностям оправдало себя, так как во время этой моей первой поездки в Россию со мной происходило множество маленьких, не всегда приятных приключений. Очень скоро я поняла, что одинокий турист во многом проигрывает по сравнению с организованными группами. Туристские группы питались в отеле по строгому распорядку, меня же, напротив, вообще не обслуживали. Меня отсылали в буфеты, выбор еды в которых был в то время очень скуден. Помнится, иногда мне кроме хлеба выпадала лишь сушеная рыба, блюдо, доселе мне незнакомое и не казавшееся мне особенно вкусным. Из предусмотрительности я захватила с собой из Берлина сухофрукты, которые и оказались единственным подкреплением во время долгих осмотров достопримечательностей (к тому же дело было зимой, стоял сильный мороз). Позже я бывала с моим канадским коллегой в очень хороших и очень дорогих ресторанах, но для таких мероприятий всегда требовалось немало

времени: заказанные блюда вечно приносили откуда-то издалека. И мне было жаль тратить время на еду в считанные дни, отведенные на пребывание в Москве.

В рассказе «Русь» Замятин пишет, что лежащая по ту сторону Москвы-реки часть города, Замоскворечье, с ее старинными названиями улиц — Ордынка, Балчуг, сохранила кое-что от старой Москвы. Теперь случай распорядился так, что я сама жила на Балчуге. Я много бродила по прилегающим улицам, заглядывала в арки и дворы и видела крутом разорение: криво висящие двери, обвалившиеся стены, кучи мусора, которые никто не убирал. Однажды я попала на богослужение, сопровождавшееся прекрасным хоровым пением; позже я узнала, что то была церковь «Всех скорбящих радости». Около скромных еще сохранившихся деревянных домов я видела массивные здания в стиле классицизма, которые, несмотря на обшарпанные фасады, напоминали о жизни преуспевавших купцов прошлого столетия, полной достатка и даже изобилия. И только годы спустя, когда я случайно наткнулась на тщательно отреставрированный дом Островского, мне стало более или менее понятно, как выглядело Замоскворечье в те далекие времена. Сейчас же мне бросились в глаза полный упадок и равнодушие.

Частенько я стояла на мосту перед гостиницей и смотрела на Москву-реку, по которой дрейфовали льдины, или дивилась с парапетов отеля «Россия» на башни Кремля и золотые купола его церквей. Снова и снова ходила я по Красной площади, один раз даже стояла в очереди, охраняемой военными, чтобы осмотреть почетные захоронения у Кремлевской стены. Среди людей, медленно продвигавшихся вперед, с непроницаемым выражением на лицах, — даже детям ничего не рассказывали и не объясняли — мне было жутковато. Поэтому я удержалась от осмотра мумифицированного навечно Ленина. Церкви Кремля были мне знакомы по учебникам, и здесь я ощущала себя увереннее. Но одно дело — смотреть на иллюстрации и совсем другое — наяву стоять перед соборами и вбирать в себя все богатство и разнообразие архитектурных стилей. В Успенском соборе, о котором я прежде читала у

Алпатова-Брунова, я вдруг отрешилась от действительности и представила себе, как когда-то, давным-давно, глядя на иконостас, верующие чувствовали близкую связь со святыми, ощущали себя с ними единым целым — и всех их, и верующих, и святых — Вседержитель благословлял со свода. Когда я захотела получить впечатление от всего Кремлевского ансамбля в целом, самой высокой точкой которого является колокольня Ивана Великого, я решила обойти крепость по периметру, но внезапно была возвращена к действительности резким свистком милиционера: погруженная в созерцание великолепной картины, я незаметно для себя переступила белую черту, отгораживающую запретную территорию правительственных зданий.

С Кремлем я теперь познакомилась, но еще совсем не знала монастырей, которые некогда зидитным кольцом опоясывали Москву. С планом города и схемой метрополитена в руках я отправилась на поиски. До сих пор я помню ту радость открытия, когда после долгих блужданий по улицам мимо домов, в которых когда-то, по видимому, жили преуспевающие граждане, увидела перед собой вдруг вход в Андроников монастырь, где погребен Рублев, или как после многочисленных распросов разыскала Крутицкое подворье. Там какой-то одинокий рабочий обтесывал камни для кладки и не обращал на меня никакого внимания. Таким образом, я могла бродить здесь сколько угодно, удивляться еще сохранившимся украшениям на стенах и погружаться в те времена, когда Крутицкое подворье было пристанищем для иноземных высокопоставленных служителей церкви. На кладбище Донского монастыря меня глубоко тронула роза, лежавшая на заснеженной могиле Чаадаева. Кто бы стал у нас на Западе с такой любовью и почтением поминать давно почившего философа?! Иногда я бродила без определенной цели по бульварам. Во время одной из таких прогулок меня взволновал памятник во дворе дома, в котором умер Гоголь. Этот памятник изображал не писателя, полного сознания собственной значимости, наподобие того, что встречает нас в начале Гоголевского бульвара, а человека, измученного сомнениями, отрекшегося от своего великого произведения и разрушившего себя фанатичным аскетизмом.

В моих дальнейших поисках старой Руси я оказалась в Загорске. Меня доставил туда автобус «Интуриста». Уже в воротах монастыря, и в особенности у мощей святого Сергия, я ощутила ту истовость, с которой молятся русские. Поскольку я была без сопровождающего, меня снова постигла неудача: я открыла церковную дверь, которой, как оказалось, можно было пользоваться только монахам, и увидела людей, распластавшихся на полу, погруженных в молитву. В ужасе от того, что помешала своим вторжением, я осталась стоять в дверях, но тут ко мне подошел один монах и произнес очень дружелюбно, почти смиренно: «Пожалуйста, покиньте помещение. Вы мешаете». Сконфузившись, я исполнила его просьбу и тихо закрыла за собой дверь.

Самым трудным в моем первом путешествии в Москву было то, что я находилась в полной изоляции. Я часто думала, наблюдая на улицах настороженность и грубость прохожих, толкаясь в переполненных вагонах метро, на эскалаторах, где мимо меня скользили все время утомленные, равнодушные лица: «Наверняка в Москве есть много людей, с которыми я могла бы говорить, которые объяснили бы мне все непонятное». Но еще перед отъездом меня предупредили, что советским гражданам запрещено вступать в контакт с иностранцами. Это подтвердилось: с посольством я могла легко соединиться из гостиницы. Но когда я попыталась позвонить русскому коллеге моего мужа, с которым тот познакомился на международном конгрессе, разговор был сразу же прерван. Мой паспорт должен был оставаться в отеле, и это добавляло мне неуверенности. Мне казалось, что я, как одинокая туристка, возбуждаю подозрение. Часто мне не разрешалось без сопровождения переводчицы осматривать какой-либо музей или выставку. Так мне запретили войти в Музей Толстого на одноименной улице. Лишь после объяснений, что я приехала из Канады специально для того, чтобы увидеть дом Толстого, и после долгих телефонных переговоров с начальством меня впустили. Смотрительницы музея были при этом чрезвычайно приветливы и старались показать мне все возможное. А когда я пыталась войти в Третьяковскую галерею, на меня прикрикнул

дежурный офицер: «Ты что, порядка не знаешь?» — поскольку я без его позволения прошла через турникет. Только после того, как я показала ему мой гостиничный пропуск, он стал приветливее и дал мне войти. Но зато я была вознаграждена: оригиналы «Троицы» Рублева и «Владимирской Богоматери», знакомые мне доселе лишь по иллюстрациям, я видела теперь воочию. Осталось лишь сожалеть, что остальные иконы, размещенные в двух залах, посвященных древнерусскому искусству, были развешаны слишком плотно и плохо освещены. Большинство посетителей проходило мимо них без внимания. Очевидно, иконы их нисколько не трогали. Однако я обратила внимание на одного молодого человека, благоговейно застывшего перед одной из икон и не обращавшего внимания на суету вокруг.

Когда я во время моих прогулок-осмотров проходила мимо здания Лубянки, меня охватывал озноб. Я даже не отваживалась задумываться о том, что творилось за занавешенными окнами или в подвалах подо мной. Издевкой казался мне находящийся прямо напротив «Детский мир». Также ужаснули меня ледяные лица множества людей в штатском, охранявших здание Центрального Комитета партии на Старой площади. Когда я начинала чувствовать себя чересчур подавленной, я отправлялась в Пушкинский музей — к импрессионистам, переносившим меня в Западную Европу, — или в маленький бар в отеле «Метрополь», где за валюту можно было выпить настоящий кофе. В том же отеле находилось бюро авиакомпании «Air Canada». Там меня приветствовало знакомое красно-белое знамя с кленовым листком, там я могла говорить по-английски, однако с осторожностью, так как не исключено, что и в бюро были осведомители. Один раз мой гостиничный телефон все же сработал. Позвонил из Университета мой канадский коллега и попросил зайти. Он жил со своей женой в общежитии, отведенном для иностранцев, и рассказывал, что, несмотря на все его старания, ему так и не удалось установить контакты с русскими студентами. Сблизились с ним лишь две девушки, очевидно, состоявшие на службе в КГБ. На Новый год он устроил небольшую вечеринку, на которую

пригласил, кроме меня венгра, немца из ГДР и этих двух девушек. Немец отказался. Видимо, он побаивался встречаться с западными иностранцами. Вечер в крошечной комнатухе получился интересный. Мы все позабыли осторожность, наперебой говорили о явных признаках несвободы, которые замечали вокруг. Страсти разгорались, и, не обращая внимания на присутствие русских наблюдательниц, мой канадский коллега воздел руку со сжатым кулаком к люстре, где, по его подозрениям, прятался «клоп» — подслушивающее устройство, и прокричал: «Эй ты, наверху! Этот народ еще станет свободным, и мы ему в этом поможем!» Я не помню, кому пришла в голову идея: с шампанским и бокалами все решили отправиться на Красную площадь и там встретить Новый год. Скоро мы среди вихрей вьюги стояли перед храмом Василия Блаженного — открыли шампанское и выпили друг за друга. Прошло немного времени, и нас окружила русская молодежь. Мы налили и им тоже, выпили за дружбу, за Новый год. В веселье исчезла разница между русскими и иностранцами. Но вдруг русские притихли, потом совсем умолкли, поскольку со всех сторон к нам стали приближаться какие-то темные фигуры с «дипломатами», и наши новые друзья вдруг исчезли, как будто их и не было никогда. С недопитыми бокалами стояли мы, канадцы, на Красной площади, ставшей вдруг странно пустынной.

Вскоре после Нового года я поехала в Ленинград. Чтобы быть поближе к простым людям, я заказала билет в общий вагон. На вокзал и к вагону меня опять сопровождал сотрудник «Интуриста». В вагоне не было отдельных купе, а лишь большие деревянные скамьи поперек. Я села к окну, на грязном стекле которого было написано: «С Новым годом!». Лишь только я устроилась, рядом плюхнулась толстая женщина с бесчисленным количеством мешков и коробок, которые совершенно задавили меня. Когда я начала освобождаться из-под этой груды, она сказала как ни в чем не бывало: «Ах! Я Вас загородила?». Потом выяснилось, что у нее не было билета, так что проводница велела ей освободить вагон вместе со всем багажом. Теперь рядом со мной оказалась скромная молодая

женщина. Как только поезд тронулся, она предложила мне яблоко и рассказала историю своей жизни. А я — самостоятельно путешествующая иностранка с Запада — скоро стала сенсацией для всех пассажиров вагона. Меня засыпали вопросами, интересовались, какая у меня квартира, как она обставлена, со всеми ли современными удобствами. Моя молодая соседка осведомилась, разрешена ли в Канаде свободная любовь; другой спросил, все ли поезда ходят у нас по расписанию. Я была очень осторожна с ответами, мне не хотелось никому навредить, поскольку я поняла, что проводницу предупредили, что я иностранка. По просьбе одного пассажира я поменялась с ним местами. Когда проводница вошла в вагон для проверки билетов, она сразу же спросила недовольным тоном: «Где иностранка?» — и испытала заметное облегчение, когда увидела меня; однако тут же потребовала, чтобы я вернулась на прежнее, предназначенное мне, место. Это вызвало у меня подозрение, что оно было оборудовано подслушивающим устройством.

85

Время бежало быстро. Я смотрела на бесконечные заснеженные поля, видела вдали убогие деревенские дома и представляла себе, как одиноко, как отрезанно от всего остального мира жили люди в этих деревнях, люди, получавшие напичканные одной стороной пропагандой новости. В конце пути, заполненного разговорами, на вокзале, мне снова пришлось вспомнить, что я не простая пассажирка, как все другие: я обязана была разыскать представителя «Интуриста», чтобы узнать, в какой гостинице мне остановиться. Сотрудники «Интуриста» не носили каких-либо отличительных знаков. Таким образом, я должна была переходить от одного незнакомца к другому и спрашивать, не тот ли он, кого я ищу. В конце концов, я разыскала его и была препровождена в гостиницу «Европейская». Поскольку я ехала общим вагоном, мне и комнату отвели почти неотопливаемую. Однако меня это мало беспокоило. Я была слишком взволнована и все не могла поверить, что я действительно в Ленинграде, в городе, который я так часто видела в своих фантазиях. Приближалась полночь, но мне все же хотелось пройтись по Невскому. Погруженная в созерцание заснеженных зданий под ясным ночным небосводом,

прохаживалась я взад и вперед, как вдруг ко мне приблизился молодой человек и произнес: «Деньги есть?». В ужасе я подумала, что он принял меня за проститутку... Кто же другой будет стоять посреди ночи, к примеру, на берлинской Курфюрстендамм или лондонской Пикадилли? Но оказалось, что я; не очень разбираясь в интонации русской речи, просто не поняла, что фраза была вопросительной и молодой человек лишь хотел обменять русские деньги на западную валюту. Когда на следующее утро я бродила наугад по улицам, моим первым впечатлением от Ленинграда было: да ведь это Потсдам, только намного больше, намного великолепнее. Меня окрыляло то, что я везде наталкивалась на имена, знакомые мне из литературы и по иллюстрациям: вот Аничков мост; там канал Грибоедова; это Мойка, здесь жил Пушкин. Я пыталась проследить путь героя Достоевского и разыскала дом, где Раскольников убил старуху-процентщицу. На набережной Фонтанки нашла я старый Шереметевский дворец с воротами, украшенными скульптурами львов. В одном из флигелей этого дворца после 1919 года долгое время жила Ахматова. В Никольском соборе я стала свидетельницей крестин. В те годы в Ленинграде было не много туристов, и поэтому Эрмитаж не осаждали толпы посетителей. Это позволило мне без помех наслаждаться особо понравившимися мне картинами.

Никогда не забуду, как я шла из оперного театра сквозь снежную вьюгу по пустым ночным улицам к себе в отель. Снег скрипел у меня под ногами, никого не было видно даже вдалеке. Но мне казалось, будто художники и писатели, жившие когда-то в домах, мимо которых я теперь проходила, существуют, будто они — мои друзья, будто я неразрывно связана с этим городом. Поскольку я не принимала участия в какой-либо организованной экскурсии по городу, за те три дня, что я провела в Ленинграде, я многого не успела увидеть. Несмотря на это, у меня осталось прекрасное общее впечатление об историческом Петербурге с его просторными улицами, зданиями, возведенными в стиле классицизма, мостами и каналами, с Дворцовой площадью, которая своими грандиозными пропорциями остается для меня одной из самых прекрасных

площадей мира. Никогда не забыть мне и вид замерзшей Невы со сверкающим на солнце, под высоким небосводом, снегом.

Во время моего визита в Ленинград я столкнулась с теми же трудностями, что и в Москве. Когда я попыталась заказать себе ужин в ресторане гостиницы «Европейская», чтобы отдохнуть от утомительных походов по городу на морозе, меня отказались обслуживать и снова указали на буфет. Тогда мне была незнакома система «чаевых» — я понятия не имела, сколько и кому нужно дать, чтобы тебя обслужили, как надо. Единственная по-настоящему памятная встреча у меня произошла в Пушкинском доме, центре исследования русской литературы. По просьбе канадского коллеги я должна была передать книгу для одного ученого и джазовые пластинки для его детей. В Пушкинский дом мне удалось пройти без помех. Я была просто поражена, что человек, к которому я пришла, — прославленный ученый — вынужден делить рабочий кабинет с еще тремя коллегами. После короткой малосодержательной беседы этот ученый вывел меня на лестничную клетку и спросил, нет ли у меня каких-нибудь особых пожеланий. Когда же я осведомилась о материалах о Замятине, он испуганно сказал: «Ради Бога, не произносите это имя так громко — оно находится под абсолютным табу. Здесь я никак не смогу Вам помочь». Зато он предложил еще немного побеседовать в трамвае — домой пригласить меня он, к своему сожалению, не мог. Наш разговор в переполненном трамвае не выходил за рамки общих тем. Очевидно, профессор опасался наблюдения и здесь. Тем не менее для меня эта встреча в Пушкинском доме была самой значительной.

На обратном пути из Ленинграда я с удивлением обнаружила, что представитель «Интуриста» снова организовал мне место у того же самого грязного окна с надписью: «С Новым годом!». Хотя, возможно, это была чистая случайность и мои опасения, что место было оборудовано подслушивающим устройством, были преувеличены. Однако во время этого первого путешествия в Советский Союз я чувствовала себя совершенно неуверенно и потому сразу поверила в «клопа» и соблюдала

все возможные меры предосторожности. Как в прошлый раз, я вызвала к себе интерес попутчиков. Мне предлагали еду, а какой-то малыш подарил мне значок с видом Ленинграда. Моя соседка очень быстро вступила со мной в разговор и поведала о своей несчастной любви: она только что рассталась на вокзале со своим возлюбленным. Со всех сторон меня расспрашивали о моих впечатлениях в Москве и Ленинграде. И после моих положительных отзывов один мужчина, подмигнув, сказал: «А теперь расскажите, что Вы на самом деле думаете». Я предположила, что, возможно, он меня провоцирует и не стала откровенничать. Не обошлось в пути и без происшествия: одному из попутчиков стало вдруг плохо. Позвали врача. Медик, оказавшийся среди пассажиров поезда, установил тяжелый сердечный приступ. Лекарств при себе у него, однако, не оказалось. Вызвали неотложную помощь. Поезд остановился на маленькой станции, на которой к нам в вагон вошла женщина-врач, тепло укутанная, в валенках и с шерстяным платком на голове. Но и она не смогла помочь, так как у нее тоже не оказалось необходимых медикаментов. Она дала лишь что-то успокоительное. Когда врач покинула поезд и мы снова поехали, я услышала, как кто-то сзади проворчал: «Вот так всегда у нас — лекарств нет и остается только помирать».

До самого прибытия в Москву я все время наблюдала искреннюю готовность помочь, которая так свойственна русским. О больном трогательно заботились, старались морально поддержать, даже собирали для него деньги. Мне тоже хотелось помочь, и я сказала, что в Москве меня ждет такси от «Интуриста» и я могу довезти его до больницы. Мой порыв доказал, как мало знаю я о советской действительности. Мои попутчики были уверены, что представитель «Интуриста» этого не допустит. Кроме того, сам больной уверял, что не может остаться в Москве, а должен пересесть на другой поезд, в Сибирь, и что он уже в состоянии сам передвигаться. Я была поражена его хладнокровием и покорностью судьбе, а также и сочувствием попутчиков. Мы, немцы, напротив, настолько привыкли к действенной помощи государственных и других социальных

организаций, что полагаемся на них полностью и при несчастных случаях не всегда готовы помочь друг другу так, как это привыкли делать в России. Среди всеобщего возбуждения я почувствовала и себя заодно с этими людьми. Когда я выходила из вагона, один моряк подхватил мой чемодан, другие спутники проводили меня до выхода из вокзала и простились чрезвычайно сердечно. Вдруг меня как кипятком обдало: я совсем забыла, что еду на особых условиях и что обязана на платформе встретить сотрудника «Интуриста», который должен меня сопровождать до гостиницы. Я побежала обратно в здание вокзала, но там никого не увидела — было уже за полночь. Что делать? Только взять такси и ехать в гостиницу на Балчуге, где я жила до этого. Может, «Интурист» зарезервировал комнату для меня там?.. Теперь я уже не находилась в привилегированном положении иностранки, а должна была так же, как и все, толкаться в очереди и ругаться, чтобы добыть такси. После долгой езды и постепенной доставки одного за другим пассажиров, севших со мной в одну машину (шофер к тому же явно ездил в объезд, чтобы накрутить цену), ранним утром я прибыла в отель «Бухарест». Место для меня не было зарезервировано, однако администратор запросил «Интурист». Скоро появился и мой сопровождающий, не сделавший мне ни одного упрека.

На этот раз меня поселили в комфортабельном «Метрополе», знакомом мне по моим «кофейным» визитам. Здесь я прожила еще несколько дней. Когда же на обратном пути в Шереметьево я хотела дать «чаевые» заказанному «Интуристом» шоферу, — я-то думала, что тайну «чаевых» я уже постигла, — снова оказалось все не так. Шофер отказался от денег, заявил, что он хорошо зарабатывает и что для советского человека работа — честь, а не средство обогащения. Должна признаться, что, когда я после приземления в Шёнефельде была специальным автобусом доставлена в Западный Берлин и снова ступила на его землю, я почувствовала облегчение — теперь я была наконец свободна от наблюдения, могла свободно передвигаться и делать, что хочу, без особого на то позволения.

Каков же итог моего первого путешествия в Россию? Мои впечатления об исторических достопримечательностях в Москве и Ленинграде никогда не забудутся. Я побывала рядом с великими русскими писателями — Пушкиным, Толстым, Чеховым: в их комнатах, где все говорило о прошлом, я ощутила их живое присутствие. Однако с моими русскими современниками установить контакты мне не удалось. В Институте иностранных языков я пробыла совсем недолго, поскольку сразу после новогодних праздников началась подготовка к экзаменам. По многим признакам я поняла, что меня боялись и избегали, как иностранку. Однако там, где это было разрешено, меня встречали с большим дружелюбием. Когда я один день пролежала в «Метрополе» с тяжелой простудой, за мной с материнской заботой ухаживала женщина, которая убирала мой номер. Буфетчица приносила мне особо питательный завтрак, стоило ей услышать, что я приехала из Канады не по делам, а только лишь для того, чтобы познакомиться с Россией и с русскими. Она все никак не хотела поверить, что я приехала совершенно самостоятельно, и говорила с одобрением: «Вы молодец!». Как симпатичны были мне эти простые люди, которым, очевидно, приходилось тяжело работать и при этом скудно жить. Я ведь знала, что рядом существовала и другая, в высшей степени благоустроенная жизнь. Я видела детей, пришедших со своими родителями на новогоднюю елку во Дворец съездов, — после представления их ожидали шоферы в огромных лимузинах — «Чайках» и ЗИЛах. При виде этих избалованных, закутанных в шубки малышей вспомнилась мне генеральша, у которой я была переводчицей в 1945 году. Недаром она причисляла себя к социальной прослойке, определяемой одним словом — «свои», я смотрела на этих детей и думала: вот сейчас, после елки, они поедут в хороших автомобилях по разлинованному шоссе на дачи, даже не подозревая о своих привилегиях. На меня произвела впечатление дисциплинированность школьников и детей из детских садов, она часто казалась мне неестественной. Однажды в здании Ленинградского вокзала я увидела детей примерно четырехлетнего возраста, которые вместе с воспитательницами ожидали

подхода поезда. Они послушно стояли там, где им велено было стоять. И вдруг одного мальчика привлек узор плитки на полу, и он начал было по клеточкам узора прыгать через зал. Однако воспитательница сразу же позвала его назад. Видно было, что личная инициатива пресекалась уже в самом раннем возрасте. Результаты такого воспитания я наблюдала в группах мальчиков и девочек постарше, которые покорно и безрадостно плелись за своими учительницами по музейным залам. Они равнодушно слушали все объяснения, не проявляя ни малейшего интереса к произведениям искусства.

Насколько фрагментарны были мои первые русские впечатления, я поняла, когда позже готовила доклад о своем визите в Советский Союз. Многие остались для меня непонятным и лишь создавало ощущение присутствия в этой стране какой-то жуткой, необъятной власти, от которой была зависима и я. В то же время немногочисленные личные встречи подтвердили: общение с русскими людьми, более близкое знакомство с ними бесконечно обогатили бы меня.

Неожиданные встречи

После возвращения из Канады в Германию я стала писать для различных журналов статьи о современной русской литературе. В связи с этим в апреле 1979 года одно мюнхенское издательство пригласило меня на встречу журналистов, где должен был присутствовать Юрий Трифонов. Я понимала: это именно тот случай, на который я всегда надеялась. Теперь-то я смогу лично встретиться с русским, да еще с таким знаменитым, писателем. И я поехала в Мюнхен. В отеле, где должна была состояться встреча, меня ждало разочарование: кроме меня, там не появился ни один немец. Согласится ли знатный гость на разговор при таких обстоятельствах? Молодой, тогда еще малоизвестный писатель — то был Владимир Маканин — приветствовал меня. Привычный сопровождающий оставался незаметным. После некоторого ожидания пришел и Юрий Валентинович. Он извинился за опоздание, выглядел утомленным и едва ли был готов к беседе с незнакомой ему журналисткой. В волнении я едва смогла произнести по-русски первую фразу. Но как только Юрий Валентинович услышал русские слова, его лицо просветлело. И когда я рассказала о своих студенческих годах и переживаниях во время войны, завязалась оживленная беседа. Мы сравнивали наши студенческие переживания. У Юрия Валентиновича вырвалось: «Мы можем друг друга понять; мы ведь принадлежим к одному поколению. Вы учились во времена гитлеровской диктатуры, я — во времена сталинской». Затем он предложил: «У Вас есть еще время? Я живу здесь. Мы можем пойти ко мне в номер. Я познакомлю Вас со своей женой Ольгой Романовной».

В номере у нас состоялся еще один серьезный разговор: мы обсуждали, можно ли винить того, кто подчинился диктатуре

или принимал ее молча. Я упомянула эссе Замятина, в которых он настаивал на личной ответственности каждого человека. Юрий Валентинович не был знаком с этими эссе, однако был противоположного, чем Замятин, мнения: в великом ходе истории у отдельного человека очень ограниченные возможности решать что-либо самому. И последующие поколения вряд ли имеют право строго судить человека эпохи исторических переворотов. Наши философствования принимали все более личный характер. Юрий Валентинович упомянул, что в двенадцатилетнем возрасте ему пришлось пережить арест родителей. В подробности он не углублялся и сказал лишь, что впечатления того времени определили его дальнейшее развитие и все то, что он позднее писал. По его словам, все наше поколение отмечено скрытыми неизлечимыми ранами. В конце концов, он признался мне, что, если бы ему пришлось эмигрировать, он бы поехал в Германию. Мы готовы были продолжать наш разговор еще долго, но у Юрия Валентиновича было немало других обязательств. Однако утром следующего дня он был свободен. Я остановилась в том же отеле, и он спросил, можем ли мы еще побеседовать в моем номере. При этой второй встрече он пригласил меня посетить его, когда я буду в Москве. Ему не было запрещено принимать западных гостей. Когда он со мной прощался, в глазах у него стояли слезы. Причина была, конечно, не во мне — он думал о немцах, обладающих счастливой возможностью жить и работать в свободном мире. Я с трудом могла поверить в то, что всемирно известный писатель был так открыт и полон доверия ко мне. Я почувствовала, что теперь у меня появилась ниточка, связывающая меня с Россией и с русскими, о которой я всегда мечтала. Я так была растрогана прощанием с Трифоновым, что все время, оставшееся до своего отъезда из Мюнхена, провела в Английском саду. Там, на парковой скамье, я начала читать немецкое издание романа «Старик», на котором Трифонов, даря мне эту книгу, сделал надпись. В романе писатель проводит ту же мысль, что была высказана им при нашем разговоре: люди вообще чаще действуют не по собственному усмотрению, а в зависимости «от причудливой

сети обстоятельств, причин и случайностей». «Такая крошечная мелочь, как легкая перестановка стрелок, перебрасывает локомотив с одного пути на другой, и вместо Ростова человек попадает в Варшаву».

В Москве я заезжала к Юрию Валентиновичу два раза, последний раз летом 1980 года. То было время, когда советская интеллигенция оказалась связанной «по рукам и ногам». К Олимпиаде из Москвы были удалены все «нежелательные элементы». Юрий Валентинович был очень подавлен, почти не надеясь, что цензура пропустит его новый роман «Время и место». Он говорил, что жизнь стала невыносимой, не желающая приспособливаться к режиму интеллигенция попала в окончательную изоляцию. У нее нет возможности выражать собственное мнение, многие молодые писатели вынуждены заниматься физическим трудом. Случайно зашедший друг Трифонова, услышав, что я приехала из Западного Берлина, не веря своим глазам, посмотрел на меня и лишь сказал: «Есть ли вы еще на самом деле?». В вопросе этого человека, имени которого я уже и не помню, выплеснулось наружу чувство безнадежной оторванности и потерянности. Я могла понять его, ведь и для меня, как теперь для русских, во времена гитлеровской диктатуры иностранцы, приезжавшие из свободной страны, были существами из совсем другого, едва представимого мира. Когда я прощалась в тот раз с Юрием Трифоновым, я не думала, что никогда больше его не увижу. И всегда, когда я стою у его могилы на Кунцевском кладбище, я снова чувствую его духовную близость к себе; мысленно вижу его темные, полные жизни глаза, говорящие о его открытости и о потаенным опыте глубоких страданий.

Годом позже состоялось новое для меня знакомство с русскими, на этот раз в Восточном Берлине. Одна моя родственница, работавшая химиком в тогдашней ГДР, должна была встретиться с коллегой из Советского Союза и пригласила меня тоже приехать. Для жителей Западного Берлина каждый визит «по другую сторону стены» был особенным событием, так как с 1966 года нам было запрещено заходить в восточную часть города. Долго считала я такое положение вещей

неизменным и не верила, что когда-нибудь увижу эту, так хорошо знакомую мне раньше, половину города. Однако постепенно наши отношения с ГДР существенно упростились. Начиная с марта 1972 года, по предварительному заявлению нам было разрешено в назначенный день находиться на территории Восточного Берлина в течение 24 часов. И вот теперь я пережила то, что считала просто невозможным: я прогуливалась с русскими по бульвару Унтер ден Линден, мы шли мимо Университета, в котором я училась раньше, по направлению к Бранденбургским воротам, я видела в просвете между колоннами кусочек Западного Берлина, такого близкого и в то же время такого недостижимого для моих друзей. Моя родственница сказала мне, что все русские обязаны сообщать все подробности своего пребывания за рубежом, и прежде всего о встречах с западными иностранцами. Поэтому она предложила отправиться в Пергамон, осмотр которого дал бы им достаточно материала для официальных отчетов. Она просила, чтобы я была очень сдержанной и ждала реакции русских коллег, — пусть сами решат, хотят ли они со мной сблизиться. Скоро их желание поговорить со мной стало очевидным. И так мы при переменном распределении ролей — то как Фауст с Маргаритой, то как Мефистофель со словоохотливой Мартой — прохаживались парами взад и вперед по музейным залам, пытаясь осторожными вопросами нащупать образ мыслей собеседника. Ведь мы практически ничего не знали друг о друге. Однако взаимная симпатия проявлялась все отчетливее. В качестве вечерней программы моя кузина наметила поход на «Похищение из серая». Прощаясь после спектакля в Опере, мы пообещали друг другу снова встретиться, как только представится возможность. Музыка Моцарта окончательно доказала абсурдность разделения на «восток» и «запад».

Другое незабываемое событие — встреча с пианисткой Татьяной Николаевой. Еще в Канаде одна русская, которая когда-то училась вместе с Татьяной Петровной, поручила мне передать ей привет, если я встречу ее в Европе. Так и вышло: в начале 1980-х годов я увидела ее имя в берлинских концертных анонсах. После концерта я подошла к ней и представилась, Татьяна

Петровна была любезна, но сдержанна. Очевидно, контакты с западными гражданами не одобрялись сопровождающими ее официальными лицами. Несколькими годами позже я узнала, что Татьяна Петровна должна дать концерт в Шлезвиг-Гольштейне, в городке Прец, в церкви местного монастыря. После концерта состоялось небольшое собрание слушателей, и прежде всего музыкантов, на котором я взяла на себя роль переводчицы.

Все были тронуты тем, как Татьяна Николаева интерпретировала Баха, и за столом среди людей, которые едва друг друга знали, царил совершенно непринужденная атмосфера. Взволнованно говорили о музыке, избегая щекотливых политических тем, — это были времена «холодной войны». Со мной Татьяна Петровна говорила по-русски, но потом подняла бокал, поблагодарила музыкантов на немецком языке за их участие и признание, произнесла теплые слова о связях, которые возникают между людьми самых различных национальностей и убеждений благодаря музыке, и завершила свою речь фразой, послужившей для присутствующих ответом сразу на все непоставленные вопросы: «Бах — это основа жизни».

Еще не раз встречалась я на Западе с Татьяной Петровной, и с каждой встречей мы говорили друг с другом все более открыто и сердечно. Однажды в Голландии мы проговорили до рассвета. И я услышала многое о ее жизни, семье, о трудностях овладения мастерством пианистки, об ее участии в Первом лейпцигском фестивале Баха в 1950 году, где она играла так, что Шостакович, член жюри, присудил ей первую премию. Встречалась я с ней в Шлезвиг-Гольштейне, куда она приезжала на один из летних музыкальных фестивалей, когда концерты даются не только в замках, но и в служебных помещениях старинных дворянских поместий. Мне запомнилось, как она, весьма солидная дама, с проворством молоденькой девушки взбиралась, чтобы проверить акустику, по приставной лестнице на сеновал бывшего коровника во дворе поместья Бетмана Хольвега, потомка известного во времена Вильгельма II политика.

Потом она играла в зимнем саду произведения Баха для семьи хозяина и небольшого круга его гостей. Тогда мне казалось, будто мы перенеслись из нашего технического века в далекое прошлое, когда европейские аристократические поместья были центрами духовной и творческой жизни.

В то время, когда я писала эти строки, до меня дошло известие о смерти Татьяны Николаевой. 13 ноября 1993 года в Сан-Франциско во время концерта, на котором она исполняла Шостаковича, у нее произошло кровоизлияние в мозг. Скончалась она 23 ноября, так и не придя в сознание.

Я вспоминаю ее — большого художника, теплого, участливого человека — с глубокой скорбью и благодарностью.

Гостья одного из московских послов

98

Как-то я узнала случайно — а может, то было предопределенное стечение обстоятельств, — что мой давний знакомый в Голландии, с которым я познакомилась в Берлине вскоре после войны (тогда он был молодым дипломатом), назначен послом в Москву. Более тридцати лет тому назад мы занимались вместе на курсах русского языка, поскольку он тоже очень интересовался русской культурой. Теперь он пригласил меня в Москву, и у меня появилась возможность увидеть этот город по-новому.

На сей раз я отправлялась не в неизвестность, мне не нужно было по прибытии в Шереметьево разыскивать в необъятной толпе представителя «Интуриста»; теперь меня уже на паспортном контроле поджидала супружеская чета — дипломат и его жена. Вежливый шофер подхватил мой багаж, открыл передо мной дверцу автомобиля, и так я ехала, словно важная персона, в дипломатическом лимузине по Ленинградскому шоссе к центру Москвы. Голландское посольство находится недалеко от Арбата. Мы остановились перед прекрасным зданием в стиле позднего классицизма, огромные двери распахнулись, и по мраморной лестнице я поднялась в зал для приемов. Там стояли две молодые горничные. Они сделали вежливый реверанс: «Гутен-таг, мадам». Мне казалось, что я очутилась в сказке.

С 1983 по 1986 год я много раз была гостьей посла и чувствовала себя в великолепном здании как дома. Как часто я поднималась по широкой, взлетающей вверх лестнице с чугунной кованой решеткой — настоящим произведением искусства — в банкетный зал с зеркалами в золоченых рамах, с узорным сверкающим паркетом, с мраморным камином и дорогими канделябрами; в этом зале собирались гости. Казалось, в такие праздничные дни дом возвращается к прежней жизни.

Позже я выяснила, что с 1832 по 1833 год здесь жил Иван Тургенев со своей семьей, и Петр Чайковский бывал здесь частым гостем. В конце XIX века дом перешел к известному московскому издателю и владельцу типографий Владимиру Васильевичу Думнову.

Я бывала в посольстве на приемах и обедах с западными дипломатами, встречалась также и с русскими, которым были разрешены контакты с западными иностранцами или которые просто не обращали внимания на налагаемые запреты. Так выяснилось однажды, что моим соседом за столом оказался Семен Липкин, писатель, на роман которого «Народ орлов» я как раз написала рецензию. Эта встреча в голландском посольстве удивила меня, так как Семен Израилевич в то время как раз подвергался официальным гонениям, а еще в 1979 году был исключен из Союза писателей.

Была также незабываемая поездка в Переделкино, в этот мир русской поэзии. Посол получил позволение у Лидии Чуковской и семейства Пастернака посетить их дачи. Мы отправились туда холодным зимним днем. Деревянный дом Пастернака с деревянными башенками мне часто приходилось видеть на фотографиях. Теперь я сама прошла по комнатам, где поэт жил и работал. Я смотрела в окно на кружащийся снег и думала, как, должно быть, часто он стоял здесь, любясь на этот вид; картина, открывшаяся мне, — сад, поле за дорогой, холмы вдаль — обращали мою память к его стихам. Потом я перешла через маленький мостик, знакомый мне по некоторым описаниям Переделкина, и, утопая в глубоком снегу, попала, в конце концов, к могиле Пастернака. Там я обнаружила большую группу молодых людей, в благоговейном молчании стоявших перед заснеженным холмиком.

Нашим сопровождающим по даче Корнея Чуковского была Клара Лозовская, подруга и сотрудница Лидии Корнеевны. Внутренние помещения дачи были, как и в доме Пастернака, обставлены очень скромно и, тем не менее, казались одухотворенными фантазией поэта. Для своих лекций в Канаде я черпала множество ценнейших примеров из книги Чуковского «От двух до пяти», в которой он так ярко показывает

особенности детского мышления. Теперь со всех сторон меня приветствовали персонажи его стихотворных сказок. На одном столе можно было увидеть «чудо-дерево» с туфельками и сапожками на ветках. Дом таил в себе нечто, приносящее радость от самого пребывания в нем, творческую атмосферу, которая в те времена советской действительности подавлялась абсолютно во всех областях жизни. И я была совершенно ошеломлена, когда тут же узнала, что Лидия Чуковская и семья Пастернака получили официальные извещения о том, что дома со всеми хранящимися в них напоминаниями об ушедших из жизни поэтах должны быть освобождены, поскольку они предназначены для других писателей.

Знакомство с Беллой Ахмадулиной подтвердило, что многие люди тогда чувствовали себя навсегда отрезанными от Западного мира, их беспокоили и собственное благополучие, и собственная творческая судьба. Надежды на изменения политического курса государства были окончательно утрачены. Потому все и были так рады, если представлялась возможность встретить гостя с Запада, в котором они находили взаимопонимание и который, возможно, мог стать связующим звеном между ними и их эмигрировавшими друзьями. Когда я встречалась с художниками, работавшими в «подполье», я часто думала: «Если бы мы у себя на Западе хоть что-нибудь знали о том, что здесь создается тайно, несмотря на все тяготы! Ведь большинство иностранцев, сопровождаемых во время своих поездок по России "Интуристом", ничего подобного не видели и не могли увидеть. Просто мне, как гостье голландского посольства, повезло открыть некоторые двери». Вдова Павла Корина показала мне не только работы мужа, предназначенные для официальных выставок, но также и его богатое собрание икон, хранящихся в мастерской художника на Малой Пироговской; я побывала в Духовной академии в Загорске, посетила там общежитие студентов, узнала о некоторых из них — кто они и откуда родом, где и как учились и какие у них перспективы на поприще священнослужителей.

Однако в высшей степени интересная и удобная жизнь в посольстве имела и свою оборотную сторону. Каждый здесь сознавал, что за ним наблюдали. Охрана у подъезда четко фиксировала, кто входил и выходил, что имелось у людей при себе, а также время пребывания в здании посольства. Однажды одна знакомая дама не могла найти сумочку и предположила, что потеряла ее, когда высаживалась из машины у посольства. Выслушав ее, солдат-охранник вежливо ответил: «Нет, Вы выходили из машины уже без сумочки». Должно быть, случайно этот же человек встретился мне, когда я прогуливалась со своими русскими друзьями по бульвару. Он улыбнулся многозначительно, и я не знала, как расценить эту улыбку.

Иногда, приглашая меня к себе, посол предупреждал, что я должна вести себя осторожно — иначе можно оказаться втянутой в провокации.

Меня удивляло изобилие предлагаемых на банкетах блюд и напитков. За высокими заборами, огораживающими дачи в окрестностях Москвы, тоже шла привилегированная жизнь людей, причисленных к номенклатуре; даже примыкающие к этим дачам леса были запретной зоной для обычных граждан. И как бедно жили в противоположность этому мои друзья! Частенько я разыскивала квартиру, поднимаясь по полуразрушенной, плохо освещенной лестнице, но потом отворялась дверь, и вот я уже уютно сижу за кухонным столом, на который выставлено все, что только есть в доме. Какие доверительные беседы велись там, о каких судьбах пришлось мне там услышать! Все внешнее убожество тогда забывалось.

К большой моей радости при одном из моих посещений голландского посольства я снова встретила Ольгу Романовну Трифонову, с которой познакомилась в Мюнхене в 1979 году. Она свела меня со многими своими друзьями. Мы встречались с ней в Союзе писателей, я приезжала к ней на дачу — осмотрела рабочую комнату ее мужа, прошлась по дорожкам, где он любил гулять. В Москве Ольга Романовна показала мне памятные места, сыгравшие заметную роль в жизни

и романах Юрия Валентиновича: дом на набережной, где он жил до ареста своих родителей, улицу у Белорусского вокзала, где он работал, чтобы иметь возможность учиться. В Театре на Таганке я смотрела любимовские инсценировки романов Трифонова. Незабываемое впечатление оставил спектакль «Дом на набережной». Напряжение в зрительном зале было такое, какое я испытала только однажды, в гитлеровские времена, на представлении шиллеровского «Дона Карлоса». Тогда публика с замиранием сердца ждала реплики маркиза Поза, обращенной к королю Филиппу: «Дайте же свободу мысли, сир!» — и зал обрушивался овациями. После нескольких представлений эти слова в пьесе Шиллера были запрещены. Похожей была и атмосфера на Таганке. Я ощущала всеобщее волнение, равнодушных не было — каждый мог сопоставить свою судьбу с судьбой героев спектакля. После представления мы с Ольгой зашли к одному из актеров. Он был подавлен и растерян, он не знал, сколько ему доведется еще проработать на Таганке после ухода Любимова. Услышав, что я из Западного Берлина, он сказал на прощание: «Не забывайте про нас, расскажите на Западе о нас, о нашей жизни здесь». Долго звучали во мне его слова. И всегда при возвращении в Западный Берлин я ощущала боль: ведь я ехала навстречу свободе, а в это же самое время множество людей, которых я научилась ценить, оставались в тисках обстоятельств, не дававших им никакой надежды в обозримом будущем.

Во время моих поездок в Россию я встречалась с Ольгой Романовной очень часто. Она организовывала для меня прогулки и встречи, и Москва становилась мне все ближе. Однажды в Союзе писателей к нам подошла ее знакомая, журналистка. Она очень заинтересовалась моим рассказом о студенческих годах на факультете славистики во время войны, и особенно упоминанием о том, что моим учителем был Макс Фасмер, поскольку высоко ценила этимологический словарь русского языка, составленный Фасмером. Этот словарь был издан и в Советском Союзе. Мы долго разговаривали, а когда пришло время прощаться,

она сказала: «Знаете, Вы первая немка, с которой мне довелось говорить со времен войны. До этого момента я рассматривала Германию как враждебное государство и избегала любых контактов с немцами. Вы приблизили меня к своей стране. Возможно, эта встреча изменит мои взгляды».

Подобный случай был у меня и в Канаде. Работая в университете в Торонто, я длительное время тесно сотрудничала с одной американкой. Постепенно между нами сложились дружеские отношения. И однажды я ее спросила: «Бетти, что ты подумала, когда меня представили тебе как будущую коллегу и я обосновалась в твоём бюро?». Она ответила: «Честно говоря, я отправилась тогда к нашему шефу и спросила: "Ну почему обязательно немка?!"».

Ощущения позорного клейма, с которым жило наше поколение, невозможно было избежать и в России, поскольку мне постоянно встречались люди, пострадавшие во время немецкой оккупации.

Однажды Анатолий Ким пригласил меня поужинать в Союзе писателей. Свободных столиков не было, и одна дама попросила позволения сесть к нам, за столик. Когда она услышала, что я приехала из Западного Берлина, то спросила, не знаю ли я некий городок на севере Германии — там жила ее сестра: она, еврейка, попала туда, выйдя замуж за немецкого академика. После его смерти она была арестована, однако ей удалось выжить в тюремном заключении. После войны наша собеседница получила от сестры известие, что вся семья, кроме нее, погибла. При этих словах у женщины выступили слезы на глазах. Она извинилась, объяснив, что не хотела меня огорчать, но воспоминания о том времени одолевают ее и никак не хотят уходить в прошлое. Мне было стыдно. Что я могла сказать в утешение ей? Мне оставалось лишь в очередной раз вспомнить слова Юрия Трифонова в Мюнхене: «Мы принадлежим к одному и тому же поколению, разрушенному, искалеченному диктатурой. Только вы пережили Гитлера, а мы — Сталина». Позже, думая о разговоре с незнакомой дамой, я припомнила рассказ Джозефа Конрада «Теневая линия», который он

написал для своего сына и его ровесников, попавших в круговорот первой мировой войны. Писатель показывает в рассказе, как война стала водоразделом, отделившим наивное безмятежное существование молодых людей от всей их дальнейшей жизни. Такая же «теневая линия» пересекла и жизнь моего поколения. Таким людям независимо от того, к какому народу они принадлежат, остается одно: идти друг другу навстречу, попробовать друг с другом говорить так, как это делали женщины, встретившиеся мне в Союзе писателей.

Обычно по утрам перед началом рабочего дня посол совершал прогулку, небольшое «кругосветное путешествие», и я частенько сопровождала его. Мы шли по Суворовскому бульвару до Никитских ворот, потом по улице Алексея Толстого к Патриаршим прудам и через Пушкинскую площадь по Тверскому бульвару возвращались к посольству. Во время этих прогулок мне представлялась возможность понаблюдать, как начинают свой день москвичи. Зимой в переулках я видела пожилых тепло укутанных женщин, которые, вооружившись метлой, сметали уличную грязь между сугробами, мусорными контейнерами и кучами других отбросов с тротуаров на проезжую часть. В то же время упитанные господа, несмотря на трескучий мороз, в сквере вокруг Патриарших прудов занимались бегом и утренней зарядкой. Очевидно, им хотелось со временем стать высокопоставленными служащими, жить в таких привилегированных домах, какие я видела на улице Алексея Толстого, и ездить на работу в министерство в таких же огромных лимузинах, какие стояли у подъездов этих домов. Мы часто встречали одних и тех же людей, и короткий взгляд, едва заметная улыбка показывали, что они узнавали в нас иностранцев. Обычные же граждане на бульварах и улицах спешили к своей цели, сосредоточенно глядя только вперед, и мне думается, что даже по походке можно узнать западного иностранца, — он всегда идет спокойно, с чувством собственного достоинства — отчасти преувеличенного, тогда как средний советский гражданин стремится, словно маленькое

колесико в огромном государственном механизме, оставаться как можно более незаметным.

Однажды я тоже попала в такую ситуацию, когда мне хотелось съездить, а еще лучше — стать невидимой. Это произошло в Муранове. Один мой знакомый хотел показать мне имение Тютчева. Зимой оно закрывалось для посетителей, однако мой приятель был знаком со сторожихой и договорился, что нас пропустят. Поездка была рискованной для нас обоих, поскольку Мураново находится вне 30-километровой зоны, в которой иностранцам разрешалось тогда свободно передвигаться. Был солнечный зимний день. Прогуливаясь в окрестностях дома, я наслаждалась чудесными пейзажами, морозным воздухом, представляла себе великолепную жизнь, царившую здесь в предыдущем столетии. Потом меня провели по внутренним помещениям дома. Сторожиха, которая знала, откуда я приехала, не разговаривала со мной, однако мы прекрасно понимали друг друга по глазам, без слов ощущали взаимную симпатию. Милиционер, скупая, прохаживался по вестибюлю дома взад и вперед и, казалось, ничего не замечал. Однако вдруг мой знакомый оттолкнул меня в сторону и впихнул через боковой проход в домик сторожихи. Там он взволнованно прошептал, что я должна вести себя тихо и не произносить ни слова и что при первой же возможности нам надо возвращаться в Москву. Пока мы ждали автобуса, мне казалось, что меня со всех сторон просверливают враждебные взгляды. Мне хотелось исчезнуть, раствориться. Что же произошло? Лишь в электричке я узнала, что в музей-усадьбу в Муранове неожиданно нагрянула с экскурсией группа болгарских функционеров. И тогда казавшийся пассивным милиционер, который, конечно, по моей одежде догадался, что я не русская, спросил сторожиху: «А кто она?». К счастью, его удовлетворило объяснение, что я советская гражданка из Прибалтики. Если бы он попросил мой паспорт, последствия для моего знакомого и для меня, а прежде всего для сторожихи, были бы очень неприятными. Это произошло в 1978 году, когда я находилась в Советском Союзе в качестве

туристки. Но и, как гость голландского посольства, я сталкивалась во время поездок с ограничениями, которые предусматривались для западных иностранцев. К примеру, мне очень хотелось обстоятельно осмотреть достопримечательности Владимира и Суздаля. Однако мне не было разрешено там переночевать, несмотря на то, что посол официально просил об этом. Таким образом, мне выделили всего один день на оба города. На пути туда машину останавливали через определенные промежутки, проверяли документы и отмечали время. «Старший брат», как говорится, всегда был рядом. Но стоило нам проехать через Золотые ворота Владимира, как политическая действительность была позабыта. Церковь Успения Богородицы, в которой раньше хранилась знаменитая икона Богородицы, была, к сожалению, закрыта. Мне пришлось осмотреть ее лишь снаружи. Не удалось попасть и в Дмитриевский собор, главную княжескую святыню. Как мне хотелось поподробнее рассмотреть фигуры на барельефах внешних стен церкви, но недостаток времени не позволил сделать и этого. Я так и не смогла по-настоящему воспринять всю красоту старинных архитектурных памятников Владимира. Но я провела некоторое время на возвышении, где стоит Дмитриевский собор. Оттуда смотрела я на широкую долину, простирающуюся вдоль Клязьмы, и представляла себе, как отправлялся отсюда на охоту или в военные походы Андрей Боголюбский со своей дружиной.

В Суздале мне также пришлось ограничиться коротенькими прогулками. В Спасо-Евфимиевском монастыре я слушала звон колоколов, раскачивавшихся в арках колокольни. Этот звон создавал праздничное настроение. Но потом я оказалась у тюремных камер, в которых содержались когда-то религиозные вольнодумцы и неугодные политики, приговоренные к пожизненному заключению, и ужаснулась, прочитав на одной из табличек, что и Льву Толстому угрожала та же участь. У меня было совсем мало времени, и я не смогла посетить все монастыри, а пошла на крутой берег Каменки. На возвышении, где стоит церковь Св. Ильи, просидела я долго, глядя на луга, покрытые первой зеленью,

любуюсь панорамой города. После немного утомительного изобилия памятников архитектуры эта картина — сверкающие в вечернем свете золотые купола монастырских церквей и шатровых крыш колоколен — осталась во мне самым прекрасным воспоминанием о Суздале.

Несмотря на строгий контроль, я все-таки сделала недозволенное отклонение от маршрута: по дороге в Суздаль я прочитала на одном указателе название: «Боголюбово». Это разожгло во мне желание проехать по следам Андрея Боголюбского. Я свернула с предписанного мне маршрута и оказалась у развалин княжеского дворца. Я долго бродила по еще сохранившемуся переходу лестничной башни, где в 1174 году был убит князь. Милиционеры, расположившиеся неподалеку, предоставили мне свободу действий. Потом я пробралась по узенькой тропинке к церкви Покрова Божьей Матери на-Нерли, которую возвел Андрей Боголюбский в честь победы над волжскими булгарами. На широком просторе, под высоким небосводом была я совершенно одна, лишь вдали виднелись люди, копавшиеся на своих огородах. Очертания церкви Покрова передо мной становились все отчетливее, а когда я оборачивалась, меня приветствовали купола церкви Успения Богоматери и ее узкая, стремящаяся ввысь колокольня. И тогда я почувствовала себя такой счастливой, будто приехала в ту Россию, которую все время искала, — казалось, сама земля говорит со мной. К сожалению, церковь на-Нерли стояла в лесах, и вход в нее был закрыт. Но я надеюсь, мне еще доведется съездить в Россию без всяческих помех, чтобы побольше узнать о ее знаменитых исторических местах, о просторах этой страны и о жизни ее людей. Тогда же я, как западная туристка, была изолирована: в Суздале во время коротенькой экскурсии по городу в тележке, запряженной лошадьми, ко мне подседа маленькая девочка. Поначалу она стеснялась, но потом разговорилась. Но когда ее мать, помогая ей высадиться из повозки, поняла, что я не русская, то быстро отстранила девочку от меня, так что я даже не успела с ней попрощаться. О самом последнем впечатлении этой поездки, уже на пути из Суздаля обратно,

можно было бы не писать — в общем, в нем не было ничего значительного. И тем не менее оно запало мне в память: во время остановки на шоссе на площадке для отдыха, когда я распаковала свои съестные припасы, ко мне подбежала маленькая растрепанная собачонка, пристроилась, виляя хвостом, у ног и стала заглядывать мне в глаза, выпрашивая кусочек. Я покормила беднягу. Водитель грузовика, наблюдавший эту картину, сказал мне, что ему знакома эта собачонка, что она постоянно крутится здесь, перебиваясь подачками водителей. Тем временем собака окончательно прониклась ко мне доверием — может, надеялась, что я возьму ее с собой. Когда я садилась в машину, она проводила меня просящим взглядом и потом бежала следом, покуда хватило сил. Почему до сих пор этот эпизод не выходит у меня из памяти? Ведь неухоженные бездомные собаки есть везде. Думаю, то была моя реакция на контраст между ухоженным — будто музей — Суздалем и бездомным существом с его реальной жизнью, с настоящей бедой, которая не редкость в человеческом мире: ведь и сегодня, когда я пишу эти строки, во многих уголках планеты идут войны, со всеми их ужасами, которые, как мне казалось, уже не должны были бы повториться после 1945 года!

Осенью 1984 года я получила разрешение на двухдневное пребывание в Пскове. И во время этого путешествия проявились преимущества моего положения, как гостьи голландского посольства. Мне были предоставлены некоторые льготы, однако связывало постоянное сопровождение переводчицы. По прибытии ранним утром в гостиницу «Рига» я обнаружила, что ресторан закрыт. Русские туристы остались голодными. Меня же накормили плотным завтраком в соседнем помещении. Потом появилась переводчица и объяснила, что в первый день нас повезут в Михайловское, а на следующий мы посетим Печорский монастырь. Еще в Пскове нас остановили два милиционера. Они были недовольны техническим состоянием такси и предложили нам пересесть в другую машину. После долгих разбирательств мы, наконец, поехали дальше, и мне

подумалось: «И такие происшествия в России в порядке вещей». Вскоре я забыла о громыхании кузова, об отсутствующих пружинах амортизаторов, радуясь осенним пейзажам под широко простирающимся ясным небом. Я видела перелески, расцвеченные яркими красками, поля с характерными для Псковщины снопами льна, деревеньки с бревенчатыми домами и отдельно стоящими сарайчиками-туалетами и удивлялась, что крестьяне до сих пор возделывают землю примитивным ручным способом.

В 1944 году Михайловское служило опорным пунктом немецких военных группировок, пушкинские места были безжалостно разорены. Ошеломленная, я со стыдом прочитала деревянную табличку с немецкой надписью в церкви Святогорского монастыря: «Могила Пушкина заминирована, ходить запрещено». Все здания в Михайловском, и прежде всего господский дом, были тщательно восстановлены; даже дорожки и скамьи в парке соответствовали духу того времени. Однако на меня Михайловское произвело впечатление неживого музейного экспоната. Прежде всего, мешали бесчисленные таблички со строками из стихов Пушкина, развешанные во всех любимых уголках поэта. Помимо этого, переводчица также без конца цитировала стихи, а ее менторские указания не давали погрузиться в мир поэта. Но с террасы я наслаждалась видом дома на озеро Маленец и на реку Сороть, извивающуюся среди чудных лугов. И даже мельница, упоминавшаяся Пушкиным в воспоминаниях о Михайловском, была снова восстановлена:

*...по берегам отложим
Рассеяны деревни — там за ними
Скривилась мельница, насилиу крылья
Ворочая при ветре...*

Наблюдая за многочисленными русскими экскурсионными группами, благоговейно дивившимися каждой подробностью, я задавала себе вопрос: известно ли было этим, по большей части простым людям, для которых Пушкин был превращен в этакое полубожество, сколько выстрадал поэт от затаившей ему рот цензуры? Незабываема посмертная маска

Пушкина, увиденная мною в Михайловском. На ней печать глубокого смирения и облегчения, словно поэт говорит: «Все позади». Во время экскурсии на меня произвело впечатление то, с какой любовью и почтением смотрели русские туристы на директора и реставратора музея Семена Гейченко. Как только он появился, они стали просить у него автограф или просто хотели пожать ему руку. У меня было с собой рекомендательное письмо к нему. И он выделил для меня время, провел в свой рабочий кабинет, рассказал о восстановительных работах, которыми он руководил, о Пушкинском празднике 6 июня каждого года, на который собирались тысячи почитателей поэта со всех уголков страны. Меня удивлял энтузиазм советских людей. Кто у нас на Западе, кроме специалистов, способен так высоко ценить произведения классиков? Кто у нас отправился бы в длинный путь, чтобы почтить Гете или Шиллера в Веймаре?

Вечером того же первого дня я была предоставлена самой себе. Это время я использовала, чтобы без сопровождающих осмотреть Псков. Было 13 октября, канун праздника Покрова Божьей Матери. И я отправилась в Кремль на богослужение в соборе. Старая русская примета, что на Покров выпадает первый снег, подтвердилась. На мосту через широкую реку Великая ледяной ветер закружил снежные хлопья, бросая их мне в лицо. Но я не сетовала на погоду, поскольку передо мной открылся великолепный вид: на противоположном берегу, упираясь в ночное небо, высились пятиглавый собор и чуть в стороне колокольня. Подойдя к Кремлю, я стала разыскивать в темноте вход в собор. По неровной дорожке мимо разрушенной стены, через бывшую рыночную площадь я вышла к воротам в старом крепостном валу и, наконец, к яркоосвещенной церкви. Там уже собрались к вечернему богослужению старики и несколько молодых людей. Я заметила русских туристов, пришедших сюда, очевидно, из любопытства. Запомнилась молодая пара — они стояли, тесно прижавшись друг к другу, с жевательной резинкой во рту, смущенно и тем не менее внимательно наблюдая за ритуалом. Но тут возле них

немедленно оказалась одна из многочисленных бдительных старушек, следивших за тем, чтобы во время службы все вели себя как положено. Она зашипела на парня: «Сними шапку!». И он — я была просто ошеломлена — послушался. Возвращаясь в гостиницу, я обратила внимание на то, что улицы пусты, хотя был вечер выходного дня. Я не увидела ни одного кафе, где могла бы встретиться и отдохнуть молодежь. Лишь из ресторана гостиницы «Рига» доносилась музыка. Я знала, какие цены в подобных заведениях, — для среднего молодого человека они просто недостижимы. Как безрадостна, ограничена и однообразна, должно быть, жизнь молодежи в таком городе, как Псков!

На второй день вместе с переводчицей я посетила древнюю крепость Изборск и Печорский монастырь. Снова я ехала через широкие просторы, над которыми плыли массивные кучевые облака. Будучи студенткой, я читала в летописи Нестора о том, как были призваны в Новгород варяги. А вот почему их призвали? Летописец говорит об этом так: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет». Теперь я стояла у могилы легендарного Трувора и взбиралась на ледяном балтийском ветру, обжигавшем лицо, по полузамерзшим, полузаросшим мхом тропинкам к Изборской крепости. Башни крепости казались населенными, в узких бойницах как будто еще звенело оружие — для меня ожили картины битв, которые вели здесь защитники этого внешнего рубежа России против рыцарей-крестоносцев, поляков, литовцев и шведов...

Следующей моей целью был Печорский монастырь. К празднику Покрова Богородицы сюда на покаяние прибыли верующие из соседней Эстонии и даже издалека. Перед входом в собор сидел монах, следивший за тем, чтобы пришедшие к богослужению были одеты соответственно требованию церкви. Женщин в брюках или с непокрытой головой не пускали. Переводчица сказала, что с удовольствием примет участие в богослужении. И мы стали проталкиваться в переполненную верующими церковь. В лицах многих прихожан можно было заметить черты, свидетельствовавшие,

что их предки пришли на эти земли с Востока, у других — худощавых, светловолосых, с резко очерченными чертами лица — в жилах текла, вероятно, кровь скандинавских завоевателей. Среди молившихся я заметила одного душевнобольного, принимавшего причастие с таким пылом и рвением, что я снова вспомнила Достоевского.

По окончании обедни зазвенели колокола знаменитой звонницы. Молча толпа ждала выхода духовенства и монахов из находящихся на возвышении келий вниз, к трапезной. Шествие открыл седовласый епископ Псковский. Он шагал по проходу сквозь толпу, застывшую в благоговейном ожидании, — лишь один школьный учитель второпях проталкивал своих учеников вперед; епископ не благословлял верующих, а лишь обращал на всех пронизательный взор. За ним следовали остальные священнослужители и приблизительно 70 монахов — худые фигуры с суровыми замкнутыми лицами. Шествие замыкали калеки и нищие, которых в трапезной должны были накормить. Праздничный вид этого шествия напомнил мне о другом «выходе», который я наблюдала незадолго до этого: Красную площадь перекрыли, и сразу же открылись ворота кремлевской башни, и из них в направлении гостиницы «Россия» потянулся нескончаемый поток функционеров в одинаковых костюмах, с одинаковыми красными книжками в руках, с непробиваемыми каменными лицами, на которых можно было прочесть только одно — сознание собственной власти. Эти два «выхода» явились для меня наглядным примером двух несливающихся потоков жизни в тогдашнем Советском Союзе.

Ближе к вечеру мне захотелось посетить еще и Спасо-Мирожский монастырь. Дорогу туда я разыскала бы без труда, но тут снова дали почувствовать себя те ограничения, которым я обязана была подчиняться: рабочий день моей переводчицы окончился, замены ей не было, а без сопровождающего экскурсия мне не была разрешена. Так что, проведя ночь в пути на псковском поезде, я прибыла в Москву и тем закончила свое путешествие в прошлое.

Я ехала мимо Кремля, с золотыми куполами соборов и сияющими красными звездами на башнях, зная, что теперь я снова вернулась в советскую действительность с ее неразрешенными проблемами.

Россия сегодня: увиденное, прочитанное, угаданное

114

С началом перестройки эти проблемы, присущие советской действительности, становились для меня все более очевидными. В эпоху Хрущева и Брежнева как для советских граждан, так и для западных иностранцев правила поведения были строго определены. Было ясно, что можно, а чего нельзя. Ходить в гости к русским было нельзя. Лишь немногие друзья рисковали приглашать меня к себе домой и рассказывали о своих трудностях, полагаясь на то, что я буду молчать. Таким образом, я оставалась по большей части изолированной от будней советских граждан и вынуждена была во время моих поездок ограничиваться изучением исторических и культурных памятников. Теперь я стала свидетелем перемен, которых никто не предвидел и о которых никто не может сказать, чем они кончатся. И хотя в 1987 году голландский посол уехал из Москвы, мне еще случалось неоднократно там бывать, и с каждой поездкой я замечала, что прежние ограничения для западных туристов постепенно снимаются. Никто не проверял у меня документы в поезде из Москвы в Ленинград и на пути обратно. Раньше переводчицы «Интуриста» требовали, чтобы все придерживались предусмотренной для экскурсионной группы программы. Особенно трудно было с дискуссиями за Круглым столом, во время которых мы слышали сплошную коммунистическую пропаганду. Поэтому большинство западных туристов предпочитало использовать по-другому драгоценное время. Однако переводчицы убедительно просили принять участие в этих мероприятиях, поскольку наше отсутствие расценивалось их начальством как недостаточно активная их работа и ставилось

им в вину. С началом перестройки западные туристы получали все больше возможностей для свободного передвижения. Во время моей поездки в начале 1988 года в группе оказалось всего два настоящих туриста. Некоторые отделились от нас уже в аэропорту и появились снова лишь к отлету, другие приходили в гостиницу только переночевать, и то не всегда. Раньше такое было бы просто невозможно, теперь же наша переводчица была только рада: она считала, что на группу, состоявшую из двух туристов, ей много времени тратить ни к чему. В иной день она появлялась не больше, чем на час, и таким образом два беспомощных из-за незнания языка человека были предоставлены самим себе. Им оставалось прогуливаться по Красной площади и в окрестностях гостиницы «Россия». Самостоятельно ехать в более отдаленные районы они не рисковали. Соответствующее впечатление и осталось у них от этого путешествия, предложенного «Интуристом». И даже в день отлета переводчица не явилась, так что все необходимые формальности пришлось выполнить одному из наиболее активных членов группы. При последующих визитах можно было заметить возрастающую нерадивость служащих «Интуриста» и гостиниц. Официанты в ресторанах гостиниц не особенно интересовались, достаточно ли приборов приготовлено для группы, и были заняты лишь тем, что в открытую предлагали купить различные товары. Однажды, войдя в номер, я увидела, как уборщица вывалила содержимое мусорной корзины прямо в унитаз. Ее совершенно не заботило, что вскоре из-за этого образуется засор. Она свою обязанность выполнила: все чисто, и мусорная корзина пуста. Как-то вечером я не смогла разыскать дежурную по этажу. Я сама нашла ключ от номера в ее письменном столе. Из предосторожности я оставила ключ у себя на все время моего пребывания, при этом никто не выразил никакого недовольства.

В целом мне казалось, что, несмотря на горбачевские реформы, в стране все более распространялись летаргия, растерянность и безнадежность. Об этом говорили городские

пейзажи: разбитый неотремонтированный асфальт, горы мусора, ряды домов с пустыми выбитыми окнами и поломанными дверями. В подземных переходах и метро появились нищие, которым раньше разрешено было стоять только на паперти церквей. На улицах и площадях молодые музыканты играли что-то из американского рока, пытаясь заработать немного денег. В плотном потоке машин никто не выражал своего недовольства, если вдруг у троллейбуса соскакивал «ус» с провода. Все терпеливо ожидали, пока водитель выйдет из кабины и обойдет троллейбус сзади, чтобы исправить повреждение. Иногда ему требовалась помощь водителя другого троллейбуса. Тогда образовывалась еще большая пробка. Однако никто не считал это ненормальным. У нас такая ситуация вызвала бы большой шум и ругань.

Однажды в Ленинграде морозной ночью я ехала в трамвае по Васильевскому острову. Вдруг водитель трамвая объявил, что поедет по другому маршруту; кому это не подходит, может высадиться на следующей остановке. И я оказалась на морозе на незнакомой улице без надежды поймать такси. Однако тут проявилось умение русских приспосабливаться к любой ситуации. Оказывается, при нехватке такси можно остановить частную машину — многие владельцы автомобилей таким способом дополнительно подрабатывают. У нас это было бы просто невозможно, хотя бы из-за проблем страховки при несчастном случае. Удивило меня и то, что здесь водитель машины мог попросить у другого водителя продать ему бензин, если свой кончился. Вот почему в сложных положениях русские легче находят выход, чем иностранцы: мы привыкли к жизни, хорошо отрегулированной государственным механизмом.

Отсутствие интереса к работе, казалось, распространялось в России все больше. Однажды я наблюдала, как рабочие выкладывали плитами тротуар перед отелем «Россия». Не выравнивая поверхность, они всаживали каменные плиты прямо в цементный раствор. При этом образовывались огромные, уродливые швы. Однако результаты их работы были им, по-видимому, безразличны. За то, что произойдет

в будущем, они не чувствовали себя ответственными.

Меня все время удивляло, как хорошо одевались многие русские женщины, несмотря на пустые витрины магазинов, и я спрашивала себя, как это у них получается. Даже там, где нужно было расплачиваться твердой валютой, приходилось ждать заказанных предметов в течение месяцев. Чтобы снять мерку в пошивочных ателье, и то нужно было записаться на несколько месяцев вперед. И я все время сталкивалась с системой «по благу», получением товара «из-под прилавка», которую никто не мог обойти, даже при самых ничтожных нуждах.

В мае 1989 года, во время Съезда народных депутатов и весной 1990 года, когда я снова приезжала в Москву, я заметила, как возросла политическая активность простых советских граждан. Раньше возле витрин с газетами задерживались лишь редкие прохожие. Теперь же перед листовками с призывами и информационными сообщениями толпились люди. На улицах велись дискуссии. В ходе одной из них собеседники так энергично жестикулировали, что мне показалось — дело идет к драке. Именно в этот приезд мне в первый раз пришлось наблюдать митинги и демонстрации. При этом мало кого интересовало, что все происходит в рабочее время. Неуверенность росла. Меня не раз просили воздержаться от прогулок в центре города, поскольку не исключались столкновения демонстрантов с милицией. Друзья советовали не ходить в позднее время по улицам в одиночку, а брать такси. В отдаленных районах меня всегда провожали до такси, записывая при этом номера машины, чтобы подстраховаться на случай возможных неприятностей. Знакомые, особенно те, кто жил на первых этажах, укрепляли двери и окна, устанавливали в квартирах сигнализацию. Один из моих знакомых, физик, взявшийся за установку систем сигнализации, зарабатывал больше, чем прежде в одном из академических институтов. Все эти явления указывали на неординарные процессы, происходившие в стране. Но и тогда, в апреле 1990 года, трудно было представить себе скорое падение Советского Союза.

И как это сложно — преодолеть сталинское прошлое и утвердить в русском обществе новый способ мышления и поведения, новый взгляд на историю — стало мне совершенно ясно во время моего последнего путешествия в Россию. Хотя внешне кое-что менялось (взять хотя бы школьников с красными пионерскими галстуками, которые напрочь исчезли), однако 9 Мая, в день капитуляции гитлеровской Германии, многие ветераны по-прежнему надевали на пиджаки ордена — иногда даже целые ряды орденов и медалей. У нас уже давно никто не носит знаков военных отличий. А молодое поколение и вовсе не признает военных наград.

118

Во время посещения Большого театра мне стало ясно, что старая бюрократия продолжала жить своей жизнью. Я договорилась встретиться у входа в театр с Ольгой Романовной Трифионовой, билеты были у меня, но она все не шла и не шла. Лишь с последним звонком она подбежала ко мне запыхавшись. Что же случилось? Оказалось, Горбачев пожелал присутствовать на премьере «Травиаты»: в целях безопасности были перекрыты ближайшие улицы и таким образом обычные граждане могли пройти к театру только обходным путем. У меня был хороший билет. И я оказалась в первых рядах — между функционерами и аппаратчиками. В отличие от остальной публики они не выказывали особого восторга, что заметила и немецкая певица Юлия Варди, исполнявшая партию Травиаты. Она попросила меня после представления зайти к ней в гримерную. В немецких театрах это в порядке вещей. Но здесь я столкнулась с русскими бюрократическими порядками. Чтобы попасть к актрисе, пришлось преодолеть барьеры, один за другим. Снова и снова нужно было ждать, пока очередной дежурный переговорит по телефону, чтобы пропустить меня. Без помощи Ольги Романовны, сопровождавшей меня и знавшей, как нужно проходить через русские служебные барьеры, я бы никогда не добралась до гримерной. И все же я чувствовала себя ужасно гордой, когда, в конце концов, получила возможность пройти за кулисы знаменитого театра

и когда шла по сцене по ту сторону занавеса.

А вот другой случай. В 1988 году мне захотелось присутствовать на праздновании Пасхи в Московском патриаршем соборе на Бауманской улице. Мне достали необходимый пропуск. Тем не менее присутствие на пасхальной службе было сопряжено для меня с трудностями: крестный ход начинается в полночь, а метро закрывается в час ночи. Поэтому я спросила шофера такси, который вез меня к Бауманской улице, не может ли он, за валюту, приехать и ждать меня в условленном месте, чтобы отвезти к гостинице «Россия». Он согласился без колебаний, и мы договорились о месте встречи недалеко от собора, поскольку движение на прилегающих непосредственно к собору улицах перекрывалось. Мне посоветовали прийти к службе заранее. Однако раньше времени в церковь не пускали, так что вся толпа вынуждена была несколько часов ожидать начала богослужения в узком пространстве между железными перегородками. Так я оказалась в странной, почти пугающей ситуации. Между тесными перегородками можно было стоять только по двое, самое большее по трое. Из окон домов напротив выглядывали любопытные жильцы, некоторые с явно неодобрительным выражением лиц, словно мы в чем-то провинились. Вдоль перегородак туда-сюда прохаживались неприветливые дружинники. Некоторые из них держались так грубо, что мне вдруг показалось, будто меня вернули во времена гитлеровской диктатуры, будто я еврейка и стою в очереди на уничтожение. После трехчасового ожидания я, наконец, вошла в церковь. У старушек, сгрудившихся на скамье у стены, я попросила позволения присесть, поскольку стоять у меня уже не было сил. Они с готовностью потеснились, и я смогла услышать, о чем они говорят.

Их разговор представлял собой странную смесь страхов и суеверий. Очевидно было, что они совсем необразованны и что современная действительность их мало трогает. По их словам, в мир явился сатана, смешал весь прежний порядок; скоро, мол, начнется война, поэтому и священник, о котором они говорили с большим почтением, проводит все

ночи в молитвах, стараясь отвести надвигающуюся беду. Под скамьей у старушек были пластиковые пакеты. Очевидно, они собирались по окончании службы остаться в церкви и там отпраздновать Пасху. Служба меня разочаровала: общая атмосфера была холодной, не трогала душу. Установленная для съемки телеаппаратура превращала священнодействие в шоу. Раньше в других, маленьких, церквях я чувствовала больше искренности и праздничной приподнятости. Незадолго до часа ночи я вышла из собора и отправилась на поиски моего шофера, который должен был ожидать меня в условленном месте. Мои волнения были не напрасны: он не явился. И я побежала к метро, чтобы успеть на последний поезд. Самый короткий путь лежал через ограждения, однако милиционеры не пропустили меня, несмотря на то, что я предъявила все свои документы. Пришлось добираться обходными путями до входа в метро. В отчаянии я бежала по пустым неосвещенным переулкам, то и дело попадая ногой в грязь, и главное теряя направление. И тут со мной произошел случай, который мог бы послужить сюжетом Достоевскому. Было уже около часа, спасительного света у входа в метро все еще не было видно. Тут мне встретилась медленно идущая женщина средних лет. Я кинулась к ней, умоляя показать мне дорогу. Однако она бросила бессмысленный взгляд куда-то мимо меня и пробормотала: «Ты ищешь метро, а я — свою душу». С трудом я добралась до станции и успела на последний поезд. Там я с ужасом узнала, что мне нужно еще делать пересадку. Единственный, кроме меня пассажир, совершенно пьяный, убеждал, что я должна идти с ним, иначе я окажусь запертой между двух решеток, загораживающих переходы на ночь. По эскалатору я поднималась, когда свет в метро уже выключили. С каким же облегчением я увидела очертания гостиницы «Россия»! Эту пасхальную ночь я никогда не смогу забыть.

Падение власти Коммунистической партии, которое мне пришлось наблюдать во время моих поездок в Советский Союз в 1988 и 1989 годах, в ГДР проявлялось еще более отчетливо.

Там образовались группы и форумы правозащитников, выступавшие за права человека и мир. До середины 1980-х годов государственным органам безопасности удавалось подавлять диссидентов. Однако в последующие годы общее недовольство привело к открытому протесту против диктатуры партии. Во многих городах велись богослужения во имя мира и правосудия. Известность приобрели «понедельничные» демонстрации в Лейпциге, где на улицы выходили тысячи людей со свечами в руках и скандировали: «Мы — единый народ», «Германия — единая Родина».

В июне 1984 года граждане ГДР с помощью постоянного представительства ФРГ в Восточном Берлине впервые добились права выезда в Западную Германию. К концу десятилетия этой возможностью воспользовалось множество людей — у посольств ФРГ в Венгрии, Польше и Чехословакии образовались толпы. Венгрия была первой страной, выпустившей беженцев на Запад. Затем хлынул целый поток выезжающих, которому нет конца и до сих пор. Было такое впечатление, как будто граждан ГДР охватила паника и они боялись упустить последний шанс переселения на Запад. Не задумываясь, они бросали свое имущество и ехали — в машинах, на велосипедах, шли пешком, толкая перед собой коляски, в обманчивой надежде, что, как только они пересекут границу, то получат возможность жить так, как живут на Западе. В общей истерии не обходилось и без всякого рода нарушений, за которые беженцам по законам ФРГ приходилось платить штрафы: то ли впопыхах, боясь опоздать, то ли желая освободиться от лишнего бремени, некоторые бросали стариков, детей и домашних животных на произвол судьбы.

В Берлине, где стена так красноречиво символизировала разделение не только Германии, но и всей Европы, президент Рейган в своей речи у Бранденбургских ворот в июне 1987 года обратился к Горбачеву со словами: «Господин Горбачев, откройте эти ворота! Господин Горбачев, разрушьте эту стену!».

Двумя годами позже, 7 октября 1989 года, в день 40-летия

образования ГДР, Горбачев направил предупреждение Хонеккеру, упрямо державшему курс политики подавления: «Жизнь накажет тех, кто опоздает». Эти слова берлинцы встретили ликующим: «Данке, Горби!» — и дальнейшее существование стены было поставлено под вопрос. Однако никто не мог, конечно, догадаться, что стена падет уже в следующем месяце — ноябре.

9 ноября 1989 года — день падения берлинской стены — навсегда останется в памяти очевидцев, мои друзья. И сейчас, когда я пишу эти строки, я живо ощущаю потрясение, охватившее тогда людей. Фотографии тех дней обошли весь мир. Не знаю, насколько полно было это показано советским телевидением. На пограничных переходах толпились западные берлинцы, осыпая цветами маленькие восточно-германские автомобили «Траби», бросая в окна шоколад и подарки. Кругом хлопали пробки от шампанского. Незнакомые люди обнимались, целовались, плакали. С обеих сторон молодежь взбиралась на стену и танцевала наверху. Западные полицейские подходили с протянутыми руками к восточным коллегам, чтобы приветствовать их; те же в смятении не знали, как себя вести: их не обучали тому, как нужно на все это реагировать. Берлинский транспорт и улицы были переполнены тысячами восточных и западных немцев. Вся Германия хотела быть на празднике вместе с берлинцами. Поток машин перекрывал движение, дышать от выхлопных газов плохого восточно-германского бензина было невозможно, но на это никто не обращал внимания. Водители автобусов, метро и электричек добровольно работали сверх нормы, чтобы общественный транспорт мог справиться с нахлынувшими пассажирами. Казалось, в этом радостном опьянении город освобождался от десятилетий страхов и подавления. Молодежь бурно радовалась, мы же, старшие, помнящие и любящие город еще догитлеровских времен, пережившие с ним его изменчивую историю, были сдержаннее — мы помнили о многочисленных жертвах этой истории, которые в эти дни не могут радоваться вместе с нами. Тогда, сразу после падения стены, мы, берлинцы, не могли еще понять, что теперь не только

Восточный Берлин и ГДР, а и вся Восточная Европа открыта для Запада. Поначалу нас переполняла лишь радость от сознания того, что теперь мы могли без всяких предварительных разрешений посещать давно знакомые нам места, видеться с друзьями и знакомыми. Мне вспоминается, как я тогда много раз подряд ходила по мосту Глинике, несколько десятилетий отгораживавшему Западный Берлин от Потсдама, с одной стороны на другую, не веря, что теперь без помех могу стоять как на восточной, так и на западной стороне.

Неожиданный перелом в политических отношениях между Россией и Германией означал для меня, что теперь я могу без прежних сложностей приглашать моих русских друзей к себе в Берлин и в мою загородную квартиру.

Усадьба в Виттенберге в Гольштейне, где я, как правило, провожу лето, много веков принадлежит графам Ревентло. Старинный дом стоит в окружении огромных буков на небольшом возвышении, откуда хорошо видны лужайки парка, переходящие в поля. Тишина, царящая здесь, поражает гостей из города: дом стоит вдалеке от оживленных дорог. Хозяйственные помещения и дома, в которых раньше жили работники графов, находятся также в отдалении. Для интересующихся зоологией здесь много объектов для изучения и наблюдения. В парке гнездятся различные птицы. В утренние и вечерние часы на лугах пасутся дикие козули и лани, сарычи и вороны кружат над деревьями, ночью можно услышать сову, а с заросшего камышом заболоченного озера, кусочек которого виден из моего окна, доносится глухой клич выпи.

Несмотря на уединенность, в гольштинском Виттенберге хранится множество свидетельств, напоминающих о тех временах, когда предки графов Ревентло были влиятельными политиками при датском дворе, — тогда Гольштейн был связан персональной унией с соседней Данией. Дания же, в свою очередь, имела особые взаимоотношения с Россией, которые сложились еще в XVII веке. Тогда же герцог Гольштейн-Готторпский Фридрих III отправил к русскому

двору своих посланников, чтобы добиться у царя разрешения для гольштинских купцов пользоваться торговым путем в Персию. Секретарем этой миссии был Адам Олеарий. Его «Описание путешествия в Московию и Персию», содержащее ценнейшие сведения о Руси того периода, вышло в свет в 1647 году в Шлезвиге и было переведено на многие языки. В 1713 году царь Петр I посетил герцога Гольштейн-Готторпского Карла Фридриха. Громадный глобус, полученный русским гостем в подарок, до сих пор хранится в Петербурге. Чтобы подкрепить отношения с Гольштинией (тогдашнее русское название Гольштейна), Петр I выдал свою дочь Анну замуж за Карла Фридриха. Сына от этого брака, звавшегося по-немецки Карл Петер Ульрих, Елизавета I объявила наследником русского престола. Он и стал впоследствии царем Петром III. Екатерина II также бывала в Гольштинии — ее мать была Готторпской принцессой. В окрестностях Виттенберга расположено поместье, в котором находится башня, где останавливалась Екатерина, гостя у своих немецких родственников.

Один из графов Ревентло также имел особые связи с Россией: в наследство от отца Петр III получил земли в Гольштинии. Однако немецкие политики при датском дворе были обеспокоены тем, что через эти владения русский двор будет оказывать влияние на датский, и стремились отторгнуть эти земли у царя. После долгих переговоров в 1773 году в Царском Селе был подписан договор купли-продажи. Сторону слабоумного датского короля Кристиана VII при подписании представлял его наставник граф Ревентло — предок нынешнего владельца Виттенберга.

Некоторые мои русские друзья бывали у меня в гостях в Виттенберге. До сих пор перед моими глазами стоит картина — Наталья Львовна Разгон долго смотрит из окна своей комнаты на парк и потом произносит подавленно: «Неужели такое еще бывает? Это же, как в Ясной Поляне, — остров покоя и радости».

У моей подруги Ольги Романовны Трифоновой виды Виттенберга вызвали в памяти пушкинское Михайловское.

В книге записей для гостей она процитировала поэта:

*Здесь русский дух,
Здесь Русью пахнет.*

Мой другой петербургский друг написал, что дни, проведенные в отдаленном Виттенберге, дали ему счастье почувствовать, что, несмотря на все катаклизмы нашего времени, культура и традиции продолжают жить. Однажды побывал у меня и Анатолий Ким. Он много разъезжал по округе на велосипеде, подыскивая мотивы для своих рисунков. При этом он даже не догадывался, какую сенсацию произвел среди простодушных деревенских жителей: «Вы бы только его видели — настоящий монгол. Такого у нас еще не было!». В другой раз Ким был у меня поздней осенью. Тогда ему повезло стать свидетелем древнего ритуала охоты. По его словам, он чувствовал себя так, словно попал в сказку: перед подстреленной дичью зажигались факелы, слышалось улюлюканье, а над домом кружили хищные птицы, привлеченные запахом крови. В знак благодарности он оставил в книге следующие строки:

*И снова Виттенберг,
и вновь очарованье!
В тумане старый замок,
как блаженная нирвана.*

Мой рассказ об эпизодах моей жизни, когда я близко соприкасалась с Россией, ее людьми и культурой и, несмотря на все препятствия, обретала русских друзей, приближается к концу. На моих воспоминаниях лежит печать катастроф и переворотов, определивших судьбу моего поколения, независимо от того, в какой стране жил тот или иной человек.

Советского Союза больше нет. Россия входит как партнер крупнейших западных стран в мировую политику. Взаимоотношения Востока и Запада становятся все более интенсивными во всех общественных областях. Путешествия в Россию перестали быть теми экзотическими приключениями, какими они были в 1970-е и 1980-е годы.

Даже настрого закрытые до сих пор русские гарнизоны в Германии в определенные дни открываются теперь для немецких посетителей. Во время Рождества немецким семьям рекомендовалось пригласить к себе русских солдат и офицеров. Таким образом я снова получила возможность по прошествии долгого времени говорить с русскими военными. Разговоры получились откровенными. Итогом их было: мы слишком мало знаем друг о друге.

Поскольку восточные страны выдвинулись сейчас на первый план интересов общественности, стало появляться много книг о проблемах, возникших в республиках, которые обрели самостоятельность в результате распада Советского Союза. Авторы, пишущие о России, исходят в своих рассуждениях из западных представлений, размышляют о том, как нужно бы реформировать эту страну в социальном и экономическом смысле, чтобы предотвратить хаос гражданской войны или восстановление диктаторского режима. Понятно, что ввиду сегодняшнего бедственного положения России многие западные наблюдатели обращают внимание в основном на негативные явления, считают, что в этой стране никогда ничего не получится, и делают на основании этого выводы, что спасение России только в одном: полностью следовать образцу западных политических и экономических структур, эффективность которых очевидна. Американский журналист, в течение длительного времени аккредитованный в России, описал в 1990 году процессы, предшествовавшие распаду России, как «трудный путь из тьмы к свету, от нищеты к благоденствию, от диктатуры к демократии».

Точка зрения, что западная жизнь — «свет», а Россия, напротив, тонет «во мраке», на мой взгляд, односторонняя и свидетельствует о недостаточном проникновении в русскую историю и культуру. Переоценка себя Западом при сравнении с Россией не нова, она имеет старую традицию, корни которой уходят в XVIII столетие. Это тогда родилась злая поговорка: «Поскребите русского, и вы увидите татарина».

Об отношениях между Россией и Европой рассуждали и писали очень много. И на Западе, и на Востоке были и есть самые разнообразные мнения на этот счет, есть

враждебность и неприятие с обеих сторон, но есть также и благородное признание ценностей другой культуры и сознание собственных недостатков.

Чаадаев отзывался о своей стране как о «прорехе в нравственном миропорядке» и считал, что Россия должна догнать все достигнутое Западной Европой в ее духовно-историческом развитии, иначе ей не занять достойного места в цивилизованном мире.

Западные же пацифисты, напротив, видели в России после первой мировой войны открывателя новой эры в истории, видели в русском мужике идеал нового человека. Я уже упоминала, что встречи с русскими людьми сыграли величайшую роль в творчестве Барлаха и Рильке.

Мережковский считал «апокалиптический дух» русского человека его преимуществом перед западными европейцами. Бердяев в своей книге «Русская идея», вышедшей в свет в Париже в 1971 году, также отмечает готовность русского народа к максимализму, его склонность к мистике и эсхатологии. По его словам, русские часто не делают различия между утопией и реальностью. «У русских нет таких делений, классификаций, группировок по разным сферам, как у западных людей, есть большая цельность» (Н. Бердяев. «Русская идея», Париж, 1971, с. 255). Это свойство делает их часто непонятными для немцев.

Похоже говорила о русских и Лу Андреас-Саломе. Она считала, то русский человек по мере развития в зрелую личность никогда не освобождается полностью от бессознательных сил духовной жизни. Тесная связь с живительными жизненными импульсами делает его способным к ревностной вере, которая, с одной стороны, заставляет покорно принимать судьбу, а с другой — дает внезапную энергию, толкает к экстремизму, проявляющемуся в «колоссальных экспериментах», которые «снова и снова вовлекают Россию в ситуации, связанные с неизмеримым риском». В русском еще не разделилось Небесное и Земное. И потому он противостоит своим импульсам наивнее, с меньшим ощущением чувства вины.

«Смешение Небесного и Земного», о котором говорит Лу Андреас-Саломе, одновременно и приводило в восторг, и пугало западных европейцев. Впечатление о России как об опасной, страшной, могучей силе нашло отражение и в немецкой литературе. У Генриха фон Клейста, предсказавшего в своих новеллах вторжение загадочных могучих фатальных сил, эти силы воплощаются в фигуре русского офицера. Он одновременно и спаситель, и покоритель маркизы фон О., увидевшей в нем поначалу неземного ангела, позже — дьявола. В своем рассказе «Приговор» Кафка помещает идеал, в который должен развиваться его герой Георг Бендеман, в далекий, потрясенный революцией Петербург — чтобы подчеркнуть невозможность достижения Георгом этого идеала.

Как я уже рассказывала, восточно-европейский образ мысли и чувств привлекал меня с детства. И хотя в военные и послевоенные годы Россия предстала передо мной, как и перед большинством немцев, страшной угрозой, эта внутренняя тяга осталась. Тому свидетельством сон, преследовавший меня во времена «холодной войны»: мне снилось, будто за мной гонится русский солдат; место действия неопределенно, однако, убегая, я знаю точно, что окажусь в Петербурге: там находится мой маленький тяжелобольной сын. И спасти его я смогу, только если принесу ему воды из Невы. Прежде чем я достигаю своей цели, мне приходится преодолеть много преград: я перепрыгиваю через окопы, пересекаю реки — при этом мне кто-то помогает, какие-то неясные мужские фигуры. Наконец, я оказываюсь на берегу Невы, пытаюсь зачерпнуть в бутылку воды, чтобы принести ее ребенку, но вода оказывается замерзшей. На этом сон обрывается.

Сны — отображение нашего подсознания. По К. Г. Юнгу, сны открывают человеку самые глубины его сущности, позволяют ему проникнуть в собственные конфликты и указывают такие возможности их разрешения, какие рациональное мышление никогда не признает. Для меня ясно, что мой сон говорит о моих родственных связях с

Восточной Европой. Мой ребенок, под которым могут подразумеваться собственные творческие возможности, будет вылечен только неводской водой. Вода же эта может восприниматься как символ обновляющих сил, которые откроют мне Россию. Но преследовал меня все-таки русский солдат, и вода была замерзшей. Сны допускают различное толкование. Может, сон мой означает, что встреча с Восточной Европой таит в себе опасность или даже невозможна вообще? Образ замерзшей воды может быть понят и как собственное мое развитие, пока еще сдерживаемое. Этот же образ может означать внешнюю действительность, поскольку во времена «холодной войны» плодотворные, несущие жизнь связи между Востоком и Западом были в буквальном смысле заморожены.

129

Наши средства массовой информации представляли сегодняшнюю Россию в негативном свете — один репортер называл ее, к примеру, страной Абсурдистан. И мне подумалось: наверное, будет лучше самостоятельно составить себе представление о жизни там, и я снова в мае 1993 года отправилась в Москву и Петербург. Я была готова к худшему, однако вопреки моим ожиданиям, я столкнулась там с некоторыми положительными явлениями, давшими мне какую-то надежду. Разруху и заброшенность я видела еще в 1989—1990 годах. Возможно, на дорогах появилось еще больше рытвин, асфальтовое покрытие пришло в полную негодность. Из окна моего гостиничного номера я видела груды земли и щебня: это была заброшенная стройка. Во дворе громоздились отбросы, на стенах домов болтались куски водосточных труб. Кошка, убежавшая от бродячего пса, кинулась к дыре в стене. Я представила себе, как день за днем летом дождь, а зимой тающий снег проникают в подвал и потихоньку разрушают фундамент дома. До сих пор телефонные и адресные книги не везде можно было найти, на домах отсутствовали или не были освещены таблички с номерами и названиями улиц. Как в таких условиях должен ориентироваться приезжий?

Мои русские друзья говорили о тех же недостатках, которые

высмеивались западными журналистами: неэффективная экономика, попытки старой номенклатуры, представители которой по-прежнему занимали руководящие посты, помешать ходу реформ, коррумпированность и рост преступности. Поэтому неудивительно, что мне встречались люди, которые не могли смириться с крахом советской империи, с ее кажущимся порядком и законностью. На выставке в честь последнего русского царя, которая проходила в Московском манеже, мне пришлось убедиться и в том, что существует круг людей, идеализирующих прошлое царской России. Задрапированный черным зал, классическая музыка, звучащая с подиума, — все вызывало во мне ощущение праздника мертвых. Трагическая судьба Николая II и его семьи тронула каждого образованного немца. Однако у нас было бы просто невозможно возводить исторические лица в сан святых и мучеников, а на выставке я увидела именно это: портреты царя и его семьи были представлены в виде икон. Книга о престолонаследнике Алексее, названном там по церковно-славянски святой отрок, была еще одним свидетельством той же тенденции. Неужели здесь снова хотят возродить царскую святую Русь с ее империалистическими притязаниями?

В противоположность тем, кто обращает взгляд в прошлое, встретились мне и люди, которые считают, что начавшиеся реформы сломали окончательно и бесповоротно прежние общественные отношения. Эти люди не полагаются на помощь государства, они основывают собственные предприятия или активно ищут новую работу, устраивающую их. Они говорят: сегодня нужна смекалка, нужно крутиться. Такого я здесь раньше не слышала. Люди с этими убеждениями работают очень много, порой терпят поражение, но не теряют мужества. Для них освобождение от давления, продолжавшегося десятки лет, означает возможность, наконец, строить жизнь по своему выбору с уверенностью, что Россия, хоть и не сразу, обязательно выйдет из кризиса.

Ко вновь образовавшимся предприятиям относится и ресторан на Васильевском острове в Петербурге, куда меня пригласил

один из моих друзей. Помещение было оборудовано в стиле начала века: плюшевая мебель, золоченые рамы зеркал, приглушенный свет. Цены были высоки и не соответствовали выбору блюд. Когда я спросила, кто бывает здесь чаще всего, мне сказали: в основном посетители, зарабатывающие валюту. В гардеробе я обратила внимание на небрежно одетых мужчин с мрачными лицами. Казалось, они сидели там без всякого дела. Потом я услышала, что это охранники, защищавшие заведение «от притязаний» мафии.

Гостиницы, в которых я жила в Москве и Петербурге, управлялись частными предприятиями. Они были дешевле, чем государственные, и сервис там был лучше. Служащие «Интуриста», с которыми я «имела счастье» столкнуться в предыдущие визиты, лишь изредка снисходили до того, чтобы дать иностранному туристу какой-то совет, заказать билет или добиться для него какого-либо разрешения. Теперь же служащие старались вовсю, всегда готовы были помочь и угодить гостю, побудить его приехать снова.

В этот последний приезд я провела много времени на улицах Петербурга и Москвы, бродила просто так, без цели, чтобы проникнуться изменившейся атмосферой. Многим улицам и площадям вернули старые названия. Так же, как в бывшей ГДР, здесь было заметно желание подчеркнуть начало новой эры. Новым явлением были для меня также торговцы, предлагавшие везде, особенно у станций метро, всевозможные товары, в то время как в государственных магазинах по-прежнему ничего не было. Рекламы, анонсы, предложения кредитов, развешанные повсюду в метро, обменные пункты валюты свидетельствовали о возникновении частной экономики.

Мне бросились в глаза многочисленные стенды с учебниками по иностранным языкам, прежде всего это были английские и немецкие словари и грамматики, специальные словари по науке и технике. Раньше лишь немногие советские граждане старались активно учить иностранный язык. Во время визитов русских на Запад им часто мешало то обстоятельство, что вступить в контакт с местными людьми они

могли, только если в их распоряжении был переводчик. Теперь новые возможности ездить по свету пробудили огромное желание изучать языки.

Маленькие гаражи из гофрированной жести по краям улиц также были в новинку. Значит, все же, несмотря на общую нужду, появилось больше владельцев автомашин. (Меня удивил один особенно смекалистый знакомый: под гаражом он вырыл глубокую яму и хранил в ней овощи на зиму. Оказалось, что погреба в гаражах — довольно частое явление.) Во время одной из моих прогулок по Москве в окрестностях Кремля я прочитала написанное неуклюжим почерком объявление, что вновь открывается Никольская церковь. Раньше я частенько проходила мимо маленькой церквушки с заколоченными дверями, не обращая на нее внимания. Теперь я вошла внутрь. Помещение начали реставрировать. На полу стояли два совершенно новых колокола, которые вскоре должны были зазвучать на колокольне. Я спросила с удивлением, на какие же средства все это делается, и узнала, что на пожертвования двух богатых москвичей, передавших церкви валюту. Потом пришли молодые женщины с маленьким ребенком и с букетом цветов — вскоре должно было начаться крещение. И в других церквях я наблюдала многочисленные обряды крещения. В петербургском Никольском соборе существовала даже упорядоченная очередь родителей с кричащими младенцами, и атмосферу, в которой происходило таинство, трудно было назвать праздничной, скорее рутинной. И насколько были посвящены молодые родители во всю значимость обряда крещения? Может быть, это действо для многих означало лишь явное отрицание коммунистической идеологии, обращение заново к традициям русской культуры, тесно связанной с религией, или же дань моде, вызванный красивый ритуалом. Как я слышала, католицизм также возрождался в России.

Мой визит в мае 1993 года в Петербург совпал с двухсотлетием основания города. На площадях перед Зимним дворцом и возле памятника Пушкину готовились

народные гуляния. Были сооружены подмости, на которых рок-музыканты старались создать праздничное настроение. Однако радость и веселье никак не приходили. На площадях толпился народ, в основном молодежь, но музыка не вызывала энтузиазма. Люди стояли, двигались вдоль набережных Невы взад и вперед: очевидно, для них было непривычно поддаваться спонтанному веселью, праздновать без предварительных указаний и определенных правил. Милиционеры, державшиеся в стороне, также выглядели растерянно перед непривычной картиной. И хотя везде в городе лозунги провозглашали: «Виват, Санкт-Петербург!» — я нигде не замечала праздничного настроения. Слишком угнетены были люди своей неуверенностью в будущем.

133

В Москве во время одной из моих прогулок я оказалась вблизи Красной площади. Оттуда доносилась громкая ярмарочная музыка — барабаны, литавры. Подойдя поближе, я увидела шествие веселых ряженных — «животных» и людей на ходулях, предводительствуемых пестро одетыми клоунами. Шествие двигалось вокруг ларьков с товарами западных фирм. Я заметила вывески немецкой фирмы «Карштшадт» и французского универмага «Лафайетт». Там же стоял шатер, на помосте перед которым скоморохи в русских национальных костюмах пели и отпускали всякие шутки. Когда собралось достаточно слушателей, комедианты сошли с подмостков и пригласили зрителей подпевать им и участвовать в играх и плясках. Они объяснили публике, что это старинные русские песни. Вскоре образовался кружок детей, которые сперва робко, а потом развеселившись, стали подражать пляскам скоморохов. Матери сначала смотрели на происходящее с беспомощным удивлением, но комедианты сумели растормошить и взрослых. Возникла непринужденная атмосфера, охватывавшая все больше людей перед сценой. Наконец, скоморохи вывели на сцену маленькую девочку, они называли ее купчиха и наградили за особо удачную пляску. Затем началась игра в жмурки, и неловкие действия «слепого» вызывали дружный смех. Все больше людей выражало готовность принять участие в игре. И все это

происходило — мне просто не верилось — на Красной площади, где прежде можно было увидеть только военные парады с их четким, регламентированным порядком, совсем так, как это описывает Замятин в антиутопии «Мы».

Меня обрадовала эта сама по себе незначительная сценка. Видно было, что, несмотря на все трудности и препятствия, непосредственность и инициативность смогут здесь развиваться, прежде всего в младшем поколении.

Было у меня и одно отрадное впечатление, связанное с искусством. Бродя по Большой Ордынке, я увидела на здании, которое прежде, вероятно, было церковью, вывеску: «Art Modern». Это меня заинтересовало. Я позвонила в дверь, меня впустили, и симпатичная девушка провела меня по этажам галереи. Я увидела там выразительные картины, скульптуры и изделия из металла современных русских художников, которые до сих пор, как мне объяснили, не могли выставлять свои произведения. Особенно привлекли меня работы из стекла петербургского художника Манелиса. У меня завязался дружеский разговор с сотрудниками галереи. Они радовались моему интересу и просили заходить, когда я снова буду в Москве.

Во время поездок по окрестностям Москвы и Петербурга я видела деревни, представлявшие собой безотрадное зрелище. Многие деревянные дома казались заброшенными и обреченными на разрушение. Осматривая один такой дом в окрестностях Петербурга, я обнаружила в его саду заросший высокой травой фундамент стоявшего здесь прежде каменного здания. Наверное, прежний владелец был зажиточным крестьянином: по остаткам кладки можно было понять, что здесь были когда-то обширные службы. Зрелище упадка на месте былого благоденствия заставило меня задуматься. Какова была судьба этого крестьянина, кормившего своими урожаями страну, а может быть, и участвовавшего в прибыльном экспорте? Сколько времени понадобится, чтобы здесь снова появились свободные крестьяне, смыслящие в земледелии и животноводстве?

Во время моих автомобильных поездок встречались и картины,

внушавшие надежду. Я видела и крепкие крестьянские дома в старинном стиле, украшенные красивой резьбой, и современные дачи, которые воздвигли вокруг городов разбогатевшие горожане. Отрадные, пробуждающие надежду дорожные впечатления, однако, не ввели меня в заблуждение насчет количества проблем, возникших с начала реформ.

Я встречала людей, сожелевших об утрате своих привилегий и судивших обо всем только с прагматической точки зрения. Они считали, что при Брежневe все было лучше. Тогда обстановка была стабильной, а жизнь — обеспеченной. Поскольку экономическое положение явно ухудшалось, я понимала тех, чьей единственной заботой теперь было как-то выжить. Их, погруженных в собственные беды, мало трогало общее политическое развитие страны. Многие из тех, кто поначалу участвовал в осуществлении реформ, теперь равнодушно отстранились от попыток установить демократию — слишком часто они сталкивались с нерешительностью, а то и предательством ведущих политиков.

Другие жаловались: прежде у нас была единая идеология, сплачивающая разные народы, теперь же они воюют друг с другом из-за территориальных или этнических противоречий. Приток в Россию беженцев из бывших республик СССР усиливал страх перед будущим. Я часто слышала мнение, что большинство приезжих — уголовники, представляющие опасность для местного населения. Я понимала их опасения: приехав в Петербург и выйдя там на Московский вокзал, я увидела такое мелькание чужеземных лиц, что мне показалось, будто я попала в азиатскую страну, а не в знакомый город.

А другие мои собеседники чувствовали себя униженными общим бедственным положением России. Они были против западной помощи и западных инвестиций, они опасались «распродажи» России капиталистическому Западу.

Из многочисленных разговоров я вынесла ясное представление о том потрясении, которое испытывали люди, особенно старшее поколение. Масштабы катастрофы, происшедшей в России, катастрофы не только эко-

ромической, но и психологической, могут представить себе только немцы, которые в сознательном возрасте пережили крах Германской империи как следствие политики Гитлера. Насколько трудно понять психологию другого народа, показала мне книга Елены Ржевской «Берлин, 1945». Я познакомилась с автором книги весной 1990 года. Случайная встреча была памятной, ибо мы обе пережили дни последних боев в Берлине молодыми женщинами одного возраста. Однако Елена Ржевская принадлежала к победившим завоевателям, я же была побежденной. Важнейшей ее задачей, как переводчицы штаба Белорусского фронта, возглавляемого маршалом Жуковым, было выяснение обстоятельств смерти Гитлера. А меня конец нацистских вождей не интересовал ни в малейшей степени. Я ведь давно знала, что их судьба предрешена. Ужас этих последних боев, смерть молодых солдат, как русских так и немецких, за несколько дней до конца войны мы обе переживали с одинаковой скорбью. Как я когда-то была потрясена, увидев русских пленных, так Елена Моисеевна была взволнована при виде колонн немецких пленных, которых вели навстречу неизвестной судьбе. Но, несмотря на свое благожелательное отношение к немецкому населению, Елена Моисеевна не могла понять, что люди и тогда, при общей большой беде, старались выполнять свои маленькие частные обязанности. Вспоминая об одной женщине, которая в те дни сочла необходимым в назначенное время прийти с ребенком к врачу, она полагает, что это проявление эгоизма — перед лицом полного краха, страданий и смерти думать о собственных нуждах, а не отдаться целиком потрясению великим хаосом. Елена Ржевская не может понять такого «эгоистического» поведения в чрезвычайных обстоятельствах и заключает: «Немцы другие, чужие».

Здесь действительно видны принципиальные отличия в поведении русской женщины, которая безоглядно предается общей беде, и немецкой женщины, которая, и окруженная смертями, продолжает думать об обыденном, частном, о самосохранении.

Я-то прекрасно понимаю немецкую женщину, потому что сама так жила. Перед постоянной угрозой смерти только соблюдением железной дисциплины в мелочах, сохранением, насколько возможно, привычных форм жизни я находила спасение в этом водовороте событий, который многих людей уносил в бездну.

Как Елене Ржевской Германия, так немецкой журналистке, проведшей не один год в Москве, Россия предстала страной, которую «мы еще во многом не поняли». Елена Ржевская считает, что это нам следует иногда отойти от наших «точных и четких немецких правил поведения», которые в ее стране не всегда понятны и применимы. Однако западный предприниматель, добившийся экономических успехов тщательным планированием, будет настаивать на этих «правилах поведения» и не очень-то поймет отношение к работе многих русских.

Иронические названия, которые были приняты в Советском Союзе для деления месяца на три декады: «спячка», «горячка» и «лихорадка», характерны для широко распространенной безалаберности русских в работе. Я ведь сама в свое время, будучи переводчицей в русской армии, где девизом моих начальников было: «Решим по ходу дела», в то время как я старалась все четко планировать, не раз слышала в свой адрес упрек, что я педантичный фриц. И как часто, уже договорившись о встрече, я вдруг слышала уклончивое: «Ну, мы еще созвонимся».

Западный коммерсант всегда сталкивается в России с желанием уйти от точной договоренности, отложить на потом окончательное решение. Нам такое поведение кажется вредным эскапизмом, помехой в достижении положительных результатов, а русский, наоборот, упрекает нас в том, что мы с нашим расчетливым планированием, с нашими сомнительными заботами о прогрессе, то есть о более высоких доходах и прибылях, заботимся только о материальных ценностях, пренебрегая духовными.

Отличается от нашего и русское отношение к будущему. Я впервые осознала это, когда хотела назначить встречу

задолго вперед и мой русский собеседник сказал: «Откуда Вы знаете, что тогда будет?» — и я вынуждена была признать, что он прав.

Одно незначительное происшествие в поездке лишний раз убедило меня, как по-разному смотрят русские и немцы на будущее. Я ехала со своей переводчицей по плавно уходящей под уклон дороге, перед нами стеной встала темная грозовая туча, мы двигались прямо на нее. Я сказала: «Сейчас мы попадем в сильную грозу», — и подумала о метеорологических явлениях — о громе, молнии, ливне, граде. А Лариса испуганно прошептала: «Один Бог знает, что теперь с нами будет!».

138

Страхом перед будущим, уверенностью, что не все можно рассчитать наперед, я объясняю и распространенность суеверий у моих русских друзей. Одна моя приятельница пришла в ужас, когда я хотела с ней попрощаться через порог. В деревне считается опасным встретить человека с пустым ведром. Нельзя задувать определенное число свечей разом. Один мой в высшей степени рациональный приятель однажды попросил меня остановить машину и обойти ее, когда черная кошка перебежала нам дорогу. Я с удивлением спросила: «Вы верите в приметы?». Он засмеялся и ответил: «Конечно, нет. Но все-таки лучше...».

Может быть, именно благодаря склонности к суевию, несмотря на многолетнее коммунистическое воспитание, в народе сохранилась и память о христианских ритуалах и церковных символах. Один берлинский священник рассказывал мне, что он всегда мог беспрепятственно оказывать помощь в лазаретах тяжело раненым и умирающим немецким пленным. Перед большим серебряным крестом, который он носил поверх рясы, робко и даже с уважением расступались и совсем молодые солдаты. Нечто подобное я слышала и от одной беженки из Померании. Когда бесчинствующие солдаты ворвались в пристанище, которое она делила с другими беженками, женщины запели хорал. В своих воспоминаниях она так описывает этот случай: «Мы пели с такой верой, что молодые солдаты в удивлении остановились. Один из

них протер себе глаза краем занавески. Они переглянулись. Потом по знаку своего предводителя они тихо покинули помещение. Поведение этих молодых солдат среди наших несчастий было светлым пятном, знаком того, что, несмотря на окружавшую нас жестокую враждебность, существовала и человечность».

Я описывала уже аналогичные проявления гуманности во время войны. Путешествуя позднее по России, я встречала людей, которых не могу забыть до сих пор, — столько в них душевной теплоты, способности сопереживать другому, готовности прийти на помощь ближнему.

...Это было еще во времена Брежнева. Вместе с другими туристами я стояла в очереди за входными билетами перед дворцом в Павловске. За мной стоял целый класс десятилетних школьников. Тогда шариковые ручки были для них предметом вожделения. К счастью, у меня в сумке оказался целый пакет, и я раздала их детям. Глаза одаренных сияли, глаза стоящих подальше становились все испуганней: хватит ли им? Несмотря на свою тревогу, дети оставались на местах. Думаю, немецкие дети в такой ситуации стали бы толкаться так, что и мне самой досталось бы. В конце концов, все получили по ручке.

В галерее дворца я снова встретила этих школьников. И как тогда засветилось лицо одного маленького белокурого мальчика! Он стал шептаться со своей учительницей, а потом подбежал ко мне с благодарной улыбкой и сказал: «Возьмите, пожалуйста», — втиснув мне в руку ленинградские значки. Они и сегодня лежат на моем письменном столе.

Другая картина. Я ехала с немецкой туристской группой ночным поездом из Петербурга в Москву. «Интурист» заказал билеты так, что одно место оказалось в русском купе. Разумеется, я сразу его заняла. В четырехместном купе один пассажир уже лежал на своей полке и спал. На другом месте ехала женщина лет сорока. Затем появился третий попутчик, совершенно пьяный молодой человек, который с трудом держался на ногах. Он бормотал что-то насчет рукописи, которую он не может найти. Мои немецкие спутники

были в ужасе, они считали, что я должна перейти к ним или попросить проводника ссадить пьяного.

Тут вмешалась моя русская спутница. Она по-матерински стала убеждать молодого человека, чтобы он снял свой пропахший алкоголем пиджак и что рукопись наверняка найдется. И в самом деле он нашел ее в одном из своих карманов и спрятал в багаж. Потом она позвала проводника, и мы втроем уложили совсем притихшего молодого человека на верхнюю полку. Он тут же уснул и до прибытия в Москву не шевелился. Моя попутчица, представившаяся Марией Павловной, с сочувствием предположила, что молодой человек — студент, а рукопись, наверное, его дипломная работа. Может быть, он как раз сдал экзамен и отпраздновал это событие. Бывает. И потом она рассказала мне о своей жизни. Она инженер и нередко ездит в командировки. При такой беспокойной жизни ей часто приходится обходиться без горячей пищи. Потом я должна была рассказать ей о себе. Так мы проболтали полночи, словно давно знали друг друга. Прощаясь, я поделилась с ней своими дорожными припасами, а она подарила мне маленького серебряного льва на цепочке. Я не хотела принимать такой ценный подарок, но она так сердечно просила меня об этом, что я на ее глазах прицепила львенка к моему браслету. В лице Марии Павловны мне встретилась одна из тех простых великодушных русских женщин, которые всегда производили на меня отрадное впечатление и в жизни, и в литературе.

И, наконец, последняя запомнившаяся мне сцена из моей поездки в мае 1993 года. Была Троица. Я шла со службы в церкви Архангела Гавриила и увидела, как вблизи Чистопрудного бульвара по почти пустой улице еле ковыляет сгорбленная морщинистая старушка, держа в руке березовую веточку. Ее обогнал молодой человек, склонился к ней со смиренной улыбкой и вложил ей в руку монетку. И тут я вспомнила Лу Андреас-Саломе. В своих воспоминаниях она пишет о «русской открытости», о «душевности русского лица». В сцене на улице и я увидела эту душевную открытость.

Мои воспоминания охватывают семь десятилетий, за которые

мир совершенно преобразился. В конце своих записок я снова спрашиваю себя: почему всю жизнь меня так сильно тянуло в Россию?

В детстве слово «Россия» будило во мне представление о чем-то таинственном и безграничном. Студенткой я хотела познакомиться с малоизвестной у нас историей и культурой наших многовековых соседей-славян. Позднее нас, русских и немцев моего поколения, объединил общий исторический опыт. И немцы, и русские на своей земле пережили войну. Как немцы, так и русские несут на себе следы ран, оставленных диктатурами Гитлера и Сталина. И те и другие стояли, как выразился немецкий историк Голо Манн в своих воспоминаниях, «лицом к лицу с драконом хаоса». Об этой общности говорил Юрий Трифонов в нашем первом с ним разговоре, когда он сказал, что наше поколение должно было решать одни и те же проблемы.

141

Но помимо опыта моего поколения и в прежние времена были особое притяжение и отталкивание между русскими и немцами. Может быть, русские и немцы способны друг другу особенно много дать, дополнить друг друга теми свойствами, которые одной стороне кажутся недостатком, а другой — преимуществом? Для меня лично русские люди особенно дороги своей непосредственностью, душевной глубиной и широтой.

Наконец, воспоминания, которые лежат перед вами, мои русские друзья, я написала и для того, чтобы самой уяснить свои впечатления и чувства. Мои размышления и суждения, которые вы наверняка не всегда разделите, носят поэтому совершенно личностный характер и ни в коем случае не претендуют на непреложность.

Томас Манн однажды сказал, что во сне открывается «прозрачность бытия». Сон, которым я хочу закончить свои воспоминания, показывает, как для меня связаны друг с другом русские и немцы.

Я увидела себя в какой-то восточно-европейской стране, может быть в Польше или Чехии. Я стояла во дворе какого-то замка. Владельцы покинули его, потому что была война.

В замке, занятом солдатами в незнакомой мне форме, шла напряженная деятельность. Предстояла отправка на фронт. Из портала замка вышел рослый человек. Хотя он не был похож ни на кого из моих друзей, я знала: этот человек имеет отношение ко мне, он пришел попрощаться, крепко обнял меня, доверчиво посмотрел мне в лицо и сказал по-русски: «Если останемся живы, больше никогда не расстанемся».

Я проснулась с чувством глубокого счастья.

Содержание

Ранние мечты	3
Университетские занятия	11
Опыт военного времени	30
Литературные занятия	65
Русские в Канаде	69
Россия — собственными глазами	78
Неожиданные встречи	92
Гостя одного из московских послов	98
Россия сегодня: увиденное, прочитанное, угаданное	114

Габриэла Лич-Анспах
Мои встречи с русскими
Мемуары
(Книга печатается с представленного
автором оригинал-макета.)

Редактор К. Н. Сульг
Корректор Н. Б. Старостина

Лицензия ЛР № 090098 от 29.08.94. Подписано к печати 30.04.96.
Формат 60 × 90¹/₁₆. Гарнитура Академическая. Печать офсетная. Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 9. Усл. кр.-отт. 9. Тираж 1000 экз. Заказ № 806.

Издательство «Дельфа Р. А.»
191186, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 20
Отпечатано в Павловской типографии.
189623, Павловск, ул. Марата, д. 12.

14193 Берлин 2-
Ванзенгейм

Дорогой Борис Минневер,
мне бы тоже было бы приятно
встретить в Улан-Удэ на
каждый день много лет назад.
Сколько я Вам послал мал
книжечку о жизни восточных
мн. Заверши о войне в Азии
и восточной в журнале "Жизнь"
от издательства СО. Которую
второй мировой войны.
Мне бы тоже хотелось опять
познакомиться. Это было бы
с удовольствием и с удовольствием
Подпись Лиз - Анни

